Евгений Шварц



МЕМУАРЫ

La Presse Libre
Paris

Мемуарно-
Историческая
Серия

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

МЕмуары

EVGENIY CHVARTZ

MÉMOIRES

Édition préparée, préfacée et annotée
par Lev Loseff

La Presse Libre
Paris

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

МЕМУАРЫ

Подготовка текста, предисловие
и примечания Льва Лосева

La Presse Libre
Paris

Titre original en russe:

EVGENIY CHVARTZ. MEMUARI

Édition préparée, préfacée et annotée
par Lev Loseff

ISBN 2-904228-02-0

Imprimé en France.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕ(муары) Е.Л.ШВАРЦА

1. Литературный Петроград и литературная Москва

Если мы сопоставим два мемуарных сборника — «Мы знали Евгения Шварца» и «Неизданный Булгаков. Тексты и материалы», — то нас не может не поразить та легкость, с какой материалы одной книги могут быть перемещены в другую и обратно; стоит только вычеркнуть некоторые конкретности: имена, даты, названия. Все наиболее существенное в изначальных жизненных обстоятельствах и в психологическом облике двух самых известных русских драматургов пореволюционной эпохи удивительным образом совпадает[1].

И дело тут не в том, что панегиричность, свойственная многим мемуаристам, уравнивает все и вся. Речь идет о действительном сходстве — и черт характера и фактов биографии (до поры до времени).

Заметим сразу, что никто из известных нам мемуаристов такой параллели не проводит. Это мы, позднейшие читатели

[1] «Мы знали Евгения Шварца», Л.-М., «Искусство», 1966; «Неизданный Булгаков. Тексты и материалы», ред. Элендеа Проффер, Ann Arbor, «Ardis», 1977.

мемуаров, удивляемся сходству изображенных обликов и событий.

Самые общие черты подобия распознаются уже в паспортных сведениях.

Писатели принадлежали к одному поколению — Булгаков родился в 1891, а Шварц в 1896 году. Оба воспитывались в интеллигентных семьях на юге России. Оба получили университетское образование: Булгаков — медицинское, Шварц — юридическое. И обоих годы социальной смуты словно бы освободили от предначертанного жизненного поприща.

Оба ринулись в столичные города (один в Москву, другой в Петроград), чтобы целиком посвятить себя литературе.

Впрочем, все эти совпадения не удивительны. Потоки молодых людей в то время были увлечены центростремительной силой, формировавшей новый социум.

Отметим более специфические черты сходства между двумя писателями.

Психологически оба принадлежали к одному и тому же, или по крайней мере очень сходному, человеческому типу. Признанные острословы, мастера импровизации, пародии, имитации, то есть люди с большой долей актерского в характере и поведении — недаром оба с младых ногтей тяготели к сцене. Эти качества и связанная с ними общительность, жизнелюбие, почти постоянная веселость, делали их неизменными председателями застолий, желанными гостями на любой богемной вечеринке. Эти свои природные дарования и тот и другой на первых порах использовали, главным образом, для литературной поденщины: Булгаков сочинял для

заработка газетные фельетоны, Шварц — мелкие вещи для детских журналов и издательств.

И в то же время в обоих было нечто, не соответствующее традиционному «актерскому» типу. Обоим были свойственны периоды мучительной рефлексии, сомнений в своем призвании, способностях и судьбе.

Теперь, когда труды и дни обоих уже принадлежат истории и, в основном, неплохо нам известны, мы видим, наконец, и наиболее существенную параллель: и Булгаков, и Шварц с начала и до конца отстаивали свою литературную независимость от посягательств господствовавшей идеологии, упорно и порой отчаянно сопротивлялись попыткам втянуть их творчество в русло пропагандистского искусства. Оба стремились во что бы то ни стало сохранять и развивать в своей работе гуманитарные и эстетические ценности русской литературы. И оба, вечно балансируя между двумя пропастями — отказа от своих творческих принципов и неверия в свои творческие силы, — упорно шли своей опасной тропой к тому предельному самовыражению и, одновременно, к той наиболее правдивой литературной модели реального мира, которая представлялась обоим в виде некоей *главной прозы*.

Мы не будем здесь останавливаться на сходстве стилистических пристрастий Шварца и Булгакова (вплоть до таких совпадений, как изобретение одного и того же анекдота — обыгрывания имени персонажа Иван Грозный в пьесе Шварца «Клад» и Булгакова «Иван Васильевич»). Для нас существенно было бы выявить, что же, все-таки, разнилось в жиз-

ненных обстоятельствах этих гениальных людей, что привело их от столь сходных стартов к столь разным финишам.

Мы никогда не получим исчерпывающего ответа на этот вопрос, но сравнение литературного и культурного окружения двух писателей выявляет такую полную противоположность, что фактор влияния среды на их литературные судьбы становится самоочевидным.

Те характеры, идеи, мнения, которые окружали Булгакова, заставляли его на каждом шагу сомневаться в собственных творческих импульсах, искушали его призраком компромисса и благополучия, то есть вели разрушительную по отношению к личности Булгакова работу. То, что обе попытки *главной прозы* Булгакова — «Театральный роман» и «Мастер и Маргарита» — при жизни автора не увидели света, можно объяснить трагическими обстоятельствами эпохи. Но то, что оба произведения практически остались незавершенными, отражает уже внутреннюю трагедию писателя.

А в среде, окружавшей Шварца, культивировались литературные традиции, взгляды и вкусы, гармонично сочетавшиеся с его собственными устремлениями, поощрявшие и стимулировавшие его самые радикальные опыты.

Все это отражено в конкретных и достоверных свидетельствах.

В кризисный для Булгакова период близкие ему люди уговаривали его сочинить «юбилейную» пьесу о диктаторе.

В трудное для Шварца время (примерно десятилетием позже) немногие уцелевшие за годы войны и террора друзья, тем не менее, своими советами, интересом и восхище-

нием поддерживали его в писании *главной прозы*. Хотя для всех было ясно, что это было писание в ящик стола, да и небезопасное к тому же.

Судьбы писателей сложились по-разному, потому что в начале двадцатых годов Булгаков приехал в Москву и прожил остаток своей жизни в Москве, а Шварц почти одновременно приехал в Петроград и укоренился в этом городе, пережив Булгакова на восемнадцать лет.

Два сходных по темпераменту и литературному направлению писателя оказались членами культурных общин не только разных, но и противопоставленных в новейшей культурной истории России.

В новой столице, Москве, была власть, в Москве были деньги, из Москвы исходили все коренные перемены (главным образом, отмены) в культуре русской интеллигенции.

Литературную атмосферу Москвы определяли интеллектуальные нувориши: «югозападники», лефовцы, конструктивисты. Маяковский, Сельвинский, Багрицкий, Катаев, Ильф, Петров, Олеша — при всей разнице в дарованиях, нравственных потенциалах и художественных ориентациях их объединяло одно: радикальное отрицание русской культурной традиции (всего, что они именовали «интеллигентщиной») и стремление отожествить себя с новым режимом, заменить искание собственной идеологии (богоискательство, правдоискательство — всё это скомпрометированная «интеллигентщина») радостным и безопасным принятием идеологии официальной.

Для художника идеологическая капитуляция самоубий-

ственна, и Шварц не без ужаса цитирует в своей прозе лозунг этой среды: «Время всегда право».

Пожалуй, не только русская, но и всемирная история не знавала прежде такого воинствующего конформизма. Одна из отвратительнейших человеческих эмоций — зависть стала добродетелью попутчиков. Олеша опоэтизировал страстное желание убогого своего Кавалерова стать таким же, как румяный, готовый к труду и обороне физкультурник с массового плаката[2]. Но, чтобы понять моральный пафос шварцевской прозы, нам нужно поглубже разобраться в идеологии московских литературных конформистов.

И Маяковский, и Катаев, и вся прочая преуспевающая Москва двадцатых годов — искренне ли, цинично ли стремились они встать под красные знамена, по сути исповедовали не марксизм и даже не его маккиавелистически-ленинскую версию. Они скорее подлаживали под марксизм свой бунт против «устаревших» христианских, гуманистических устоев, свое вульгаризированное ницшеанство. И, соответственно, в их творчестве упор делался не столько на марксистские, сколько на квазиницшеанские идеи.

Если и не всегда практиковалась, то, по крайней мере, на всех углах декларировалась отмена жалости, сострада-

---

[2] Ироническим комментарием к «Зависти» Олеши явилась подлинная судьба прототипа Володи, известного московского футболиста двадцатых-тридцатых годов Андрея Петровича Старостина. Приглянувшийся Берии спортсмен был арестован по фантастическому обвинению (это обвинение заслуживает отдельного рассказа) и переведен, таким образом, из родного «Спартака» в эмведешное «Динамо».

ния, самоанализа. Вспомним хотя бы Багрицкого (пример особо показательный, потому что, в отличие от Катаева, Багрицкий, судя по всему, был по природе человеком мягкосердечным). Все его программные сочинения, будь то «Февраль», «Дума про Опанаса» или «Смерть пионерки», изображают страдание, насилие, жестокость в несвойственном предшествующей русской литературе ключе: без сострадания, без ужаса и гнева.[3]

Тот же Багрицкий мог быть весьма добрым и участливым в стенах своей квартиры, но на людях, в обстоятельствах не бытового поведения, а *поступка*, этикет среды требовал от него доказательств отсутствия «интеллигентских» эмоций и предубеждений, и это приводило к таким эпизодам, как описанная мемуаристом сцена издевательства Багрицкого над нищей старухой-генеральшей.

Еще более характерна в этом отношении проза Бабеля, который настойчиво эпатировал читателя отменой сентиментального отношения к чужому (не своему) страданию: «Мне захотелось взглянуть, как выглядит женщина после изнасилования, повторенного шесть раз...» В раннем творчестве Бабеля есть даже элементы показного садизма, корни которого он сам пытается проследить в своих отроческих воспомина-

---

[3] Как известно, со сходными обвинениями в адрес Багрицкого выступил не так давно фашиствующий московский поэт Станислав Куняев. Попытки Куняева приписать имморализм Багрицкого его еврейской ментальности, разумеется, ниже всякой критики: достаточно вспомнить такого русского идеолога этой группы, как Валентин Катаев.

ниях (см. эпизод с чтением «Первой любви» Тургенева в автобиографическом рассказе «У бабушки»).

Несмотря на все те теоретические битвы, которые вели между собой лефовцы, конструктивисты и «югозападники», был некий объединяющий принцип и в их эстетике: отношение к литературному творчеству как к ремеслу, к созданию литературного произведения как к деланию вещи. Об этом тоже следует помнить, читая прозу Шварца, особенно «Печатный двор».

Иная культурная ситуация была в Петрограде, когда туда приехал и когда там начинал свой литературный путь Шварц.

Разумеется, и здесь не было недостатка в литературных нуворишах, которые к концу тридцатых годов положили конец петербургской культурной преемственности, последним отзвукам серебряного века. (Свою литературную полемику они вели, конечно, при широкой поддержке карательных органов государства.)

Но в двадцатые годы, в начале тридцатых, то есть в период литературной молодости Шварца, интеллектуальную атмосферу города все еще определяли художники, литераторы, мыслители, либо представлявшие серебряный век (Сологуб, Ахматова, Чуковский), либо в своем творчестве осуществлявшие переход от серебряного века к следующему этапу (Кузмин, Замятин), либо, наконец, те, кто представлял этот новый «после-серебряный» («бронзовый»?) период — Серапионовы братья (предшествуемые Замятиным), обэриуты (мостик к эстетическим новациям которых был выстроен Кузминым).

В Москве литературные группировки, эмбриональные

клетки будущего союза писателей, бешено соревновались за официальное признание. Крупнейшие художники — Булгаков, Мандельштам, Пастернак, Платонов — были обречены в этой среде на одиночество.

В Петрограде же еще сохранялись литературно-художественные и философские кружки старого типа, в которых продолжались, как бы не прерванные революцией и войной, творческие и духовные поиски. И прежние моральные ценности в этой среде были отнюдь не отменены. Здесь культивировались формы неприятия надвинувшегося тоталитаризма: игнорирование, ирония, эзоповская, да и прямая сатира[4].

Так различалось окружение Булгакова и Шварца в начале их литературных карьер, которые, обе, начались весьма успешно. У обоих писателей репутация блестящего ирониста, московского/петроградского Оскара Уайльда уже как бы с самого начала была в кармане[5]. Однако свойственное обоим писателям в зрелые годы стремление наполнить свои произведения значительным моральным содержанием привело к раз-

[4] Характерно в этом отношении следующее замечание А.А.Ахматовой в ее очерке о Мандельштаме: «В его биографии поражает одна частность: в то время (1933 г.) Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, persona grata, и т.п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград /.../ В Москве Мандельштама никто не хотел знать...» (А.Ахматова, «Сочинения», т.2, «Международное литературное содружество», 1968, стр.178.).

[5] Ср. изображение молодого Шварца в «Сумасшедшем корабле» Ольги Форш, где он выведен под именем Гени Чорна: «Геня Чорн — импровизатор-конферансье, обладавший даром легендарного Крысолова...» (О.Форш, «Сумасшедший корабль», Вашингтон, «Международное литературное содружество», 1964, стр.75.).

ным последствиям. Булгаков был напрочно зачислен во враги советской власти, в тридцатые годы его практически не печатали и не ставили, он умер сорока восьми лет, затравленный и в нищете.

На этом фоне жизнь Шварца можно назвать удачной. Несмотря на болезненность (еще одна черта личного сходства с Булгаковым), он прожил почти на восемнадцать лет дольше. При жизни он полной мерой познал стимулирующую радость доведения всех почти своих вещей до читателя, зрителя, успех, первые проблески славы.

По жанру его произведения в тридцатые и даже в сороковые годы попадали в зазор, до поры до времени оставленный государственной цензурой.

Дело в том, что государственная идеология включает в себя строгую иерархию жанров, сильно отличающуюся от той, что вырабатывается в живом литературном процессе, отражающую вкусы, идеалы и познания правящего бюрократического класса. В тридцатые и сороковые годы роман-эпопея помещался на вершину жанровой пирамиды, а «развлекательная» комедия, детские вещи попадали в самый низ. Существовала и широко известная иерархия тематики. В строгом соответствии с этими иерархиями распределялась и бдительность цензуры. Поэтому перед историческими и современными романами Булгакова опускался шлагбаум, тогда как легкожанровый Шварц «проходил» относительно свободно[6].

[6] Уровень цензурной бдительности с течением лет значительно возрос. В частности, именно небывалый успех сказочных комедий Шварца и (см. след. стр.)

И все же до самого конца можно усмотреть параллелизм в творческом развитии этих двух наследников великой русской литературы. Обновленному романтизму «Мастера и Маргариты» полностью соответствуют пьесы Шварца, снискавшие ему всемирную известность — «Голый король» (1934), «Тень» (1940), «Дракон» (1943). (Мы говорим «пьесы», но сама синтетичность жанра — драматическая комедия? лирическая пародия? притча-фарс? — свидетельствует о новаторском романтизме.)

И, наконец, глубинное сходство мы видим между «Мастером и Маргаритой» и прозой Шварца. И там и здесь оба автора более всего стремились избавиться от инерции собственного писательства, создать произведения наиболее адекватные своему мировосприятию. В центре того и другого произведения оказались выразительнейшие портреты культурных общин: у Булгакова выживающей и отвратительной автору Москвы, у Шварца — умирающего и дорогого автору Петрограда.

2. Портрет времени как жанр и тема

Сам Шварц, как рассказывает А.И.Пантелеев, относил свои прозаические произведения к жанру «ме». Пародийно сокращая слово «мемуары», он намекал на то, что отно-

---

попроще скроенной продукции его многочисленных эпигонов насторожил цензурные инстанции. Нынешних цензоров специально инструктируют бдительно относиться к любым аллегориям.

сить эту вещь к мемуарам в традиционном смысле, то есть к жанру рассказов участника и очевидца об определенных лицах и событиях, никак нельзя[7]. Действительно, к наиболее ярким героям *этих* мемуаров наряду с известными писателями и деятелями русской культуры относятся — и им уделено не меньше авторского внимания — совершенно безымянные попутчики писателя по пригородному поезду. Кошка, сидевшая на мусорном ведре в 1922 году, описана подробнее и психологически глубже, чем всесильный секретарь правления Союза писателей А.А.Сурков. Вскользь, почти ничего, говорится о собственных трудах. Зато собственное безделье описано подробнейшим образом, с тонкими нюансами.

Нам кажется, что в основном мемуары суть разновидность одного из жанров художественной прозы, а именно романа. Любое мемуарное произведение — это роман, в котором в качестве материала использованы не фиктивные, а реальные события. Разновидности мемуаров легко различимы по тем же структурным принципам, что и разновидности романов: мемуары монологические (в основе — судьба, карьера героя-автора, развитие его отношений с миром; таковы: «Жизнь...» Бенвенуто Челлини, «Другие берега» Набокова, «Целина» Брежнева[8]),

[7] «Мы знали Евгения Шварца», стр.49.

[8] Непрофессиональный писатель, выступая в жанре мемуаров, автоматически подчиняется законам прозы. Поэтому неосновательна была ирония прессы по поводу того, что в оглавлении одного советского журнала (*Soviet Literature*) воспоминания генерального секретаря КПСС о его деятельности на различных официальных постах были помещены под рубрикой «fiction» (художественный вымысел).

мемуары полифонические (в основе — многие образы-голоса: 2-й и 3-й тома «Былого и дум», «Люди, годы, жизнь» Эренбурга), мемуары эпические (в основе — ход времени, портрет эпохи: 1-й том «Былого и дум», отчасти «На рубеже двух столетий» Белого), мемуары орнаментальные, «с установкой на выражение», пользуясь формалистским жаргоном (Паустовский, Катаев). Подходить к мемуарам как к историческим документам можно лишь с большими оговорками (даже и в тех случаях, когда авторы не выступали до того в профессиональной литературе), а прилагать к ним эстетические мерки можно с полным основанием.

В этом ряду проза Шварца может быть определена как эпические мемуары. В произведениях этого жанра главным действователем является не лицо (и не лица), а память автора, и объектом творческого воплощения оказываются не характеры, не события, а настроения, отношения, мифы, предрассудки, характерные для описываемой эпохи в ее развитии и, собственно, и составляющие портрет эпохи.

Этот подход объясняет, между прочим, и стилистическое единство таких сюжетно несходных частей «ме», как «Пятая зона — Ленинград» и «Печатный двор» или как «Печатный двор» и отрывки, посвященные Чуковскому и детским писателям, или же отрывки и «Пятая зона — Ленинград».

«Пятая зона — Ленинград» закономерно может быть поставлена в воспоминательный цикл, потому что здесь дана одна из вариаций общей темы: взаимоотношения людей в рассматриваемую эпоху; в частности, групповой портрет народа, к которому принадлежит автор. Здесь же оформляется

и авторская позиция как моралиста, наблюдателя и судьи эпохи.

Информативная насыщенность этого пятистраничного рассказа совершенно исключительна. Уделяя своим многочисленным персонажам в «Пятой зоне», казалось бы, немногим больше слов, чем это требуется для простого перечисления, Шварц создает индивидуализированные образы, за каждым из которых кроется характерная черта страны и эпохи. Все вместе это и складывается в картину: «Россия, середина XX века».

Вагон, целеустремленно и равнодушно совершающий свои челночные рейсы, вмещает в себя все, что составляет русский национальный мир эпохи Шварца: обнищание народа, озлобленность, окончательное отчуждение власти от народа. По вагону проходят нищие, люди ссорятся и нервничают, проводники помыкают ими. В начале рассказа упоминаются как бы комичные «страшные» плакатики, предупреждающие беспечного пассажира о гибели. Застревающий в памяти читателя эпитет по мере чтения рассказа словно раскавычивается: комическая интонация уступает место устрашающей.

В подчеркнуто упрощенной рондообразной композиции, откровенно подчиненной такому случайному фактору сюжета, как циклическое движение пригородного поезда, в бессюжетности состоит эстетическое кредо Шварца этого периода: писать, не сообразуясь с установленными канонами. Такая творческая установка поистине двойственна: описание предельно объективно, т.к. просто следует за последовательностью получаемых извне впечатлений, и, в то же время, крайне субъективно, т.к. все усилия автора направлены прежде всего

на наиболее точную передачу этих впечатлений средствами языка. Впрочем, есть в этой манере Шварца и нечто незыблемое: демонстративный отказ от каких бы то ни было приемов подогревания читательского интереса, будь то увлекательное композиционное построение или та техника комического, те блестящие парадоксы и каламбуры, которые так прославили драматургию Шварца.

Есть в такой позиции автора и скрытый вызов канонической современной литературе: вот де, без всяких творческих командировок, без экскурсов в далекие края и бурные моменты истории *что* можно увидеть и описать за 50 минут, 50 километров пути, до незамечаемости знакомого каждому ленинградскому писателю. Есть здесь и метафорический отклик на заветы русской классики: вагон электрички, в котором путешествует Автор, — это в сущности тот самый «третий класс», в котором призывал ездить литераторов чтимый Шварцем Чехов.

Сказанное выше о субъективной и сугубо художественной природе «ме» не означает, что «ме» лишены историко-литературной ценности как документальное свидетельство. Мы находим здесь и штрихи исторических портретов, и литературные анекдоты, и тонкие наблюдения над формированием литературных стилей. Но особенно в этом отношении для историка новой русской литературы показателен и ценен выбор, который делает Шварц при изображении литераторов и литературных явлений. Прежде всего бросается в глаза, что этот выбор ни в малейшей степени не совпадает с официальной советской версией истории литературы этого периода (хотя и крити-

чески, но, в основном, воспринятой и многими на Западе, особенно теми, кто выступил с обобщающими трудами до 1960-х гг.). Восхищение, ирония, презрение Автора отражают иерархию литературных авторитетов, вкусы и стилевые поиски в традиционно-интеллигентской, петроградской, наименее политически ангажированной среде (в более риторические времена эти люди, возможно, называли бы себя последними римлянами, но они предпочитали называть себя «недобитыми», переняв словечко у победившего несентиментального класса). Из предшествующего поколения как наиболее авторитетные фигуры выделяются Чуковский и Замятин. Чувствуется благоговейное отношение к Блоку. *Своим* Шварц ощущает себя одновременно среди серапионов и обэриутов.

(Связь между Обэриу — русский абсурдизм — и сказовой, орнаментальной прозой «Серапионовых братьев» столь же несомненна, сколь мало изучена. Биография Шварца многое здесь проясняет. Шварц не случайный чудак, бегающий с одной свадьбы на другую. И личных отношений между представителями обоих литературных движений, и сходных тенденций в литературной работе было предостаточно, например: Зощенко — близкий обэриутам Олейников. Здесь отметим попутно, что и те и другие развивали и мотивы и литературную технику непосредственно предшествовавших русских литературных школ, в первую очередь, символизма: Белый → орнаментальная проза, театр Блока → театр и поэзия Обэриу. Многое из этого наследства обоими течениями усваивалось через пародию, причем пародийность была более свойственна обэриутам.)

Шварц сам лаконично и ясно описывает стилевые предпочтения своего круга. Например, такой важный их аспект, как новое понимание иронии (см. «Превратности характера», с.130-162). Что касается иерархии литературных ценностей, существовавшей в этом кругу, то читатель, знакомый с литературой эпохи в целом, без труда выведет ее из воспоминаний Шварца. Например, незаметно, чтобы выход «Тихого Дона» был там воспринят как значительное литературное событие, но вот творчество Бориса Житкова Шварц расценивает по разряду русской классики (официальным советским литературоведением Житков признается как талантливый популяризатор, писавший для детей о различных профессиях). Осторожный в оценках, все оговаривающий Шварц, не колеблясь, прилагает эпитет «гениальный» к поэту Николаю Олейникову, чьи стихи появлялись только в альбомах друзей.

Рассказывая о знаменитой «Чукоккале», Шварц пишет: «По закону собраний такого рода, чем менее известен был автор, тем более интересны были его записи». Это тонкое наблюдение приложи́мо и к героям «ме». Писатели и художники «второго эшелона», часто ускользающие от внимания историка, их мнения, вкусы, манера шутить, т.е. все, что и создает стиль эпохи, выведены здесь пестрой толпой. Собственно, их групповой портрет, живое изображение их дружеских сборищ и скандалов, серьезных дискуссий и легкомысленных розыгрышей и составляют портрет художественного поколения, которое было сведено на нет репрессиями 1930-х гг.

Характеристики, даваемые Шварцем, нелицеприятны, но

все же это не сенсационные мемуары-разоблачения[9]; Шварц не столько оценивает личности post factum, сколько воссоздает свое непосредственное отношение к ним в период общения, и было бы ошибкой, увлекшись тем или иным ироническим пассажем, читать весь текст в том же ключе. Ирония по отношению к Чуковскому очень часто переходит у Шварца в восторг, а строгий суд — в искреннее восхищение.

Во всех четырех рассказах есть отчетливо звучащие лейтмотивы. Окрашивая определенным настроением цепь портретов и эпизодов, они, собственно, и являются ведущими темами каждого рассказа.

В «Пятой зоне» это мотив *мы и они. Мы* — пассажиры, толпа, народ; *они* — поезд, проводники, отчужденная и властная сила.

В «Белом волке» это мотив *нереальности* всего происходящего (или, можно сказать, «ненадежности реальности»).

В «Печатном дворе» и «Превратностях характера» лейтмотив «Белого волка» усиливается до мотива *нескладности, неправильности*, какой-то *ошибки* в ходе событий, причем тема *ошибки* нарастает до такой степени, что Шварц в своей двусмысленной, полушутливой-полусерьезной манере все чаще начинает поминать то черты демонизма в чьем-то характере, то и просто вмешательство нечистой силы.

[9] Хотя именно так они и были восприняты многими, когда стали распространяться в списках в начале 1960-х гг. Ситуация была парадоксальная: «молодой» автор мемуаров уже умер, а описываемые им «старики» были еще живы и творчески активны; немудрено, что нашлись люди, воспринявшие мемуары Шварца как разоблачительные.

Если перевести эту поэтическую метафизику в реальный план, то речь идет о конфликте между эпохой (в ее политической ипостаси) и человеком; последний рассматривается Шварцем в духе русской традиции не столько как изолированный индивидуум, сколько как народ, *мы*.

Мы еще остановимся подробнее на поэтике Шварца, но здесь обратим внимание на то, как исподволь последовательно проводит Шварц свою тему с самого начала, буквально с первой фразы «Пятой зоны»: тревога, еще шутливая, копеечная, — не потерял ли я билет, — возникает мгновенно в самый момент начала отношений *я/мы* и *они* (власть). Затем рассказ акцентируется «маленькими страшными плакатиками», затем посадка в поезд описывается как момент тотальной паники. Так основная тема набирает силу (а электричка, символическое «равнодушие» которой все время тоже поминается автором, набирает ход). Разумеется, вступительная часть рассказа окрашена юмором, иронией, текст смешит, но вся эта шутливость выдержана в одном ключе: автор не слишком серьезно, но *тревожится*, плакатики забавны, но *пугают*, электричка названа не только *равнодушной*, но и *чудовищем*.

Все эти безличные проявления чуждой и враждебной по отношению к людям, механической власти сменяются уже не шутливым описанием той же власти персонализированной (на самом низком своем уровне — в проводниках). Конфликт в рассказе строится таким образом: с одной стороны, Шварц использует весь свой арсенал приемов, чтобы показать, из каких неповторимых индивидуальностей составлены *мы*, к

которым подчеркнуто причисляется *я*, с другой стороны, подчеркивается изоляция *их*, проводников, от *нас*, их отчужденно-враждебное отношение к *нам* как к безликому, инертному и злонамеренному стаду.

Позитивные, умиленные, сентиментальные интонации в рассказе связаны со сферой диаметрально противоположной сфере государственности — сугубо личной, любовной (жена футболиста, встреча со «счастливицей», мальчик, выпрыгнувший из поезда); наиболее серьезные, уважительные ноты — в описании женщин, тружениц, добытчиц, хранительниц очага.

Это разделение у Шварца не грешит упрощенной иллюстративностью. Так, встречается у него симпатичный «усатый проводник», утешитель обиженной девушки. Но в этом персонаже подчеркивается, что он как бы не «проводник», а *мы*: «как мы с тобой» — эти слова персонажа несколько раз с видимым удовольствием цитирует Автор.

Напротив, отталкивающие персонажи из среды пассажиров наделены чертами принадлежности к *ним*. Прямая речь этих персонажей клеймлена штампами официального, газетного языка. Таковы «гражданки с портфелями», возмущенные песнями нищего. Штамп пропаганды имеется и в речи омерзительного, пугающего дегенерата, хотя здесь он представлен уже в обкатанной просторечием форме: «Попадем, *не в Америке...*» (курсив мой. — Л.Л.), — уговаривает он своего дружка, который боится, что они не попадут в кино.

3. Образ художника-нищего

Рассказ «Печатный двор»[10], как и другие в «ме», построен внешне непритязательно, в той же форме неконтролируемого и подробного отчета, что и «Пятая зона» (там — отчет об одном рейсе, здесь — об одном дне молодого секретаря редакции). Но под внешней простотой отчета таится и другая композиционная структура, которую Шварц, прославленный современный сказочник, заимствовал из традиционного фольклора: герой, ищущий своей доли, до трех раз испытывается судьбой или испытывает судьбу (три встречи).

Герой здесь — сам автор в молодости, на жизненном распутьи. Доли своей он ищет в художестве. Три артистических образа, встреченных последовательно, усиливают впечатление — каждый от предыдущего. Эти образы-соблазнители вначале очаровывают автора, чтобы затем, осилив чары, он поостерегся неправильных путей. Один из лучших русских художников этого столетия В.В.Лебедев, легендарный наборщик Фатаген Керосиныч и (собирательно) пьяный нищий у Дерябкинского рынка выстраиваются в один ряд: все они, как остерегает автора внутренний голос, пошли по неправильному пути, по пути чистого артистизма.

Чистый артистизм, таким образом, прослеживается на

[10] Совсем уж странная по советским издательским канонам история произошла с «Печатным двором». Этот рассказ не только распространился после смерти автора, но и был напечатан! (*Искусство кино* №9, 1962, с.95-106). Лебедев и другие упоминаемые в рассказе художники были еще живы. Бюрократическая неувязка.

трех уровнях: высокого искусства, мастерства и житейского богемства, — причем повсюду он привлекателен, — то, что на старом русском языке называлось *прелесть*. В первом случае *прелесть* состоит в неограниченном самовыражении художника, без каких бы то ни было исторических, моральных, философских, религиозных коррелятов; во втором — в служении мастерству как таковому (при этом сфера общения с миром, сильно суженная уже в первом случае, здесь сужается совсем резко: цех — кабак); и, наконец, третья *прелесть* — окончательная свобода нищего под забором, где «никто не слушает друг друга», «поэтоподобные распухшие чудовища».

Существенно, что первым объектом недоверия Шварца становится одержимость мастера предметным миром. Шварца смущает и отталкивает не заурядное стяжательство, а именно артистическое преклонение перед вещью. С точки зрения самодовлеющего артистизма совершенно выполненная вещь — шкаф, рисунок, литературная деталь — и есть та конечная точка, на которой замыкается творчество. В эпоху все захлестывающей пропаганды такая точка зрения привлекательна жесткостью требований, которые она предъявляет художнику. Многим, как Лебедеву, пестование мастерства представлялось единственной альтернативой унизительному художественному прислуживанию. Изображение вещей, вещного мира, вероятно, самая острая эстетическая проблема русского искусства и литературы в 1920-1930-е гг. В ней выразилась реакция на десятилетия социальной, философской, религиозной ангажированности русского искусства. История литературы наглядно

демонстрирует естественность этого процесса, символически поднимая по обе стороны политической трещины удивительно сходные в тот период по творческим принципам фигуры Олеши и Набокова. Первая страница «Зависти» и первая страница «Дара» могут быть объединены в общий литературный манифест эпохи. Это движение укреплялось теоретической работой формалистов[11].

Как водится, оппозиция зрела в недрах самого движения. Шварц описывает Лебедева лукаво, во многом приемами, адекватными лебедевским в живописи и графике, создавая иллюзорную реальность из мастерски наблюденных деталей. И почти без паузы он переходит к не менее восхищенному рассказу о мастерстве наборщика. В само́м плотном соседстве этих двух фигур скрыта разоблачительная метафора: как ни искусен наборщик, но он может составлять только *чужой текст* из набора свинцовых литер; не есть ли и мастерская работа Лебедева (как и его литературных двойников) лишь мастерское исполнение *чужого текста*? И чтобы у читателя не оставалось сомнений по поводу сомнений автора, он прибавляет еще анкедот-притчу о попугае, который умел (мас-

[11] В 1972 г. мне случилось показать В.Б.Шкловскому стихотворение Бродского «Натюрморт», в котором вечность бесструктурной вещи («вещь, как правило, пыль») противопоставляется временности человека. Прочтя стихотворение, Шкловский сказал: «Так еще никто не описывал вещи». Разумеется, он знал, что такого рода противопоставления уже встречались в другие художественные эпохи, например, в период европейского барокко; он имел в виду, что эстетика *его* времени уже не актуальна. Стихотворение произвело на него сильное впечатление.

терски, артистично) кричать «Радость моя!» и вопил эту фразу восхищения, когда кошка тащила его за хвост из клетки.

Но чего же лишается художник в результате установки на чистый артистизм? Шварц выносит ответ на этот вопрос в самый конец рассказа, под ударение: возможности сказать *всё*. К этому моменту мы уже способны понять, что автор имеет в виду под этим «всё». Ведь в рассказе, с самого начала, звучала и другая тема: боязнь спугнуть нечто очень глубинное, связанное с самыми ранними детскими воспоминаниями. «Всё» — это полное самовыражение, но включающее в себя и моральный суд художника над явлениями жизни (ересь с точки зрения чистого артистизма).

Внешне мягкая манера Шварца слегка вуалирует ту решительность, с которой он восстанавливает право морали на место в русской литературе. Он неспроста берет самые традиционные, скомпрометированные по мнению литераторов 1920-1930-х гг. темы для утверждения своей истины. Таково, например, присутствие нищих в его рассказах.

Нищие были символом сентиментальной пошлости для писателей 1920-х, бард которых пел: «Мы разучились нищим подавать...» Нищий как символ несчастья, как объект литературного сострадания был изгнан из литературы (изгнание это началось еще на страницах прозы Горького). Зато нищий как некий идеал свободы от социальной или моральной регламентации занимает у литераторов этой поры видное место (что тоже можно возвести к Горькому). У Платонова почти все герои нищие. Образ нищего постоянно, всю жизнь, занимал Олешу и Зощенко. В исповедальных вещах («Ни дня без строчки»,

«Перед восходом солнца») оба признаются, что этот образ владел их сознанием, пугая Зощенко, маня Олешу (который в конце своих дней и превратился в московского нищего). Превращение в нищего — вот путь «чистого художника» Кавалерова. Подлинный нищий, просящий подаяния, мог в этой литературе быть только объектом иронического описания, демонстрации изобразительного мастерства, как у Бабеля, как у Ильфа и Петрова («Дай миллион, дай миллион...») и у многих других.

«Поэтоподобные» нищие Шварца как раз не привлекали. А вот традиционные бродяги и попрошайки изображены у него с пониманием, без обычной для его манеры иронии. Они тоже *мы*, тоже пассажиры вагона, делят общее несчастье, общую нищету. В «Превратностях характера» очень знаменателен эпизод с Житковым, который осмеливается выступить против самого обожествляемого Ленина за его попытку отменить сострадание к нищим (интерпретацию этого эпизода см. в наших комментариях к тексту).

Итак, Шварц одним из первых начал возвращение русской литературы на традиционные для нее морализаторские позиции. При этом он, конечно, не превращался в проповедника, ибо, как мы видели, решал нравственные проблемы на личном, экзистенциальном уровне и не отказываясь от игры и артистизма.

«Главная проза» требовала нового стиля, и стиль этот Шварц нащупывал тем более осторожно («И страх охватил меня... боязнь спугнуть...»), что на его долю уже выпало однажды прежде открыть и разработать новый стиль, ставший об-

разцом многочисленных подражаний; инерции собственного стиля он стремился теперь избежать.

Основной стилистический прием, обеспечивавший своеобразие шварцевской драматургии и прославивший ее, это прием стилистического контраста, неожиданного соединения разных стилистических слоев. Поэтому так врезались в память, превращались в крылатые цитаты и входили в идиоматику русской интеллигенции все эти знаменитые *фразы* Шварца:

> *Скотина не хочет понять, что главное в нашем путешествии тонкие чувства.* (Грубое ругательство вставлено в высказывание, стилизованное в духе сентименталистской прозы.)
>
> *Я могу вам представить полный список его преступлений, которые еще /.../ только намечены к исполнению.* (О сказочном злодеянии повествуется языком бюрократических переговоров.)
>
> *Пожалейте нас, бедных убийц...* (В инфантильно-сентиментальную формулу вставлено слово «убийцы».)
>
> *...что это за жизнь была без короля! Мы просто истосковались!* (Казенно-патриотические возгласы дополняются фразами в стиле «жестоких романсов».)
>
> *Придайте мне позу крайней беззаботности.* (Сугубо описательный оборот используется в прямой речи, да еще обращенной на самого произносящего.)
>
> *Мама, застрели-ка его!* (Подчеркнуто бытовым тоном предлагается убить человека.)

Собственно, тот же принцип стилистического парадокса положен и в основу всех характеров драматургии Шварца: дурашливые короли, деловитые разбойники, инфантильные министры, Баба Яга, умиленно сюсюкающая сама с собой, поэт, по совместительству работающий палачом (sic!) и пр.

Это было нарочитое обнажение приема. Сталкивая идиомы несоприкасающихся обычно стилистических слоев, Шварц не только наделял своих героев выразительными речевыми характеристиками, но и попутно разоблачал шаблоны мышления и поведения, отраженные в речевых окаменелостях. В поздней прозе он больше заинтересован в позитивной словесной работе, ищет наиболее точных, адекватных психологическим нюансам слов, возвращая при этом многим простым словам утраченную в шаблонном употреблении энергию.

Вдумчиво и почтительно слушаясь самого себя... — внешне это напоминает парадоксальную конструкцию типа *Придайте мне позу крайней беззаботности!*, когда в стилистическое клише *Вдумчиво и почтительно слушаясь* [кого-то] (норма) подставляется в качестве одного из членов ненормативный (невозможный!) вариант *самого себя*. Но по существу мы имеем здесь дело с совсем иным стилистическим явлением. В парадоксальной конструкции происходит пародия и разоблачение: несоединимые слова и выражения при соединении взрываются, обнаруживая свою семантическую пустоту или извращенность. Другое дело в анализируемом примере. Эта фраза неупотребительна не в силу стилистической несовместимости ее составных частей, а в силу того, что отраженная в ней жизненная ситуация морально предосудительна.

Обычно же самое содержание передается конструкциями, несущими в себе элемент осуждения, например, *Он слушает **только** самого себя*. Необычным употреблением обычной стилистической конструкции Шварц достигает распространения художественного эффекта:

1) внимание читателя привлечено больше, чем этого можно было достичь применением обычного клише типа *Он слушает только самого себя*;

2) нешаблонное употребление, нарушая автоматизм читательского восприятия текста, повышает внимание к «внутренней форме слова»;

3) углубляется объективная психологическая характеристика образа, т.к. ситуация общения, когда кто-то «вдумчиво и почтительно» слушает кого-то, всем хорошо знакома, переводя слушание на «самого себя», автор этой операцией открывает для нас индивидуальную психологию *этого* эгоизма, его особенную внутреннюю физиономию (что было бы невозможно при употреблении клише: мы бы знали, что речь идет об эгоисте и только);

4) отказ от морализаторского стереотипа важен для имплицитно выстраивающегося образа автора — как объективного, непредвзятого повествователя (что, опять-таки, укрепляет доверие к тексту).

В пьесах основным приемом было пародирование языковых клише, здесь — на первом месте поиски эпитета.

Хотя среди эпитетов и встречаются экстравагантные ассоциативные в духе Набокова-Олеши (***пастушеский** звук трубы*

стрелочника; ***влажный*** *голос моторного вагона;* ***картонажное, игрушечное*** *счастье*), но в основном эпитеты становятся инструментами психологического анализа, т.е. выбираются тщательно, чтобы зафиксировать еще одно вычлененное психологическое качество. Такова функция и простых эпитетов типа /боксом занимался/ ***пристально, рассудительно,*** и синестетических — /женщина/ *доброжелательная,* ***сырая***, и метафорических — ***добротная*** /репутация/ (т.е. как прочная и надежная ткань, которую принято называть *добротной*).

Та объективность, которой подчеркнуто придерживается автор при изображении наиболее субъективных своих переживаний, приводит к некоторому перераспределению акцентов, падающих на привычные эпитеты, по сравнению с бытовой речью. Так, любуясь Чуковским или Житковым, Шварц не забывает упомянуть *толстые* губы одного и *мутные* глаза другого (как это бывало в описаниях у Толстого, эпитеты теряют здесь свойственный им слегка негативный характер). То же в эпизоде с обиженной девушкой-проводницей — упоминается ее ***кукольно-бессмысленная*** *мордочка*. Хотя такое употребление очевидно напоминает Толстого и Чехова, сам писатель указывает, что не все из чеховского наследия принималось в его кругу. Вспомним возмущение Житкова чеховским оборотом *офицер в белом кителе*:

> Эта чеховская фраза, видимо, возмущала Бориса тем, что используется готовое представление. Писатель обращается к уже существующему опыту, к читательскому опыту. А все общее, как бы общеобязательное, утверждаемое или утвержденное всеми, бралось Борисом наподозрение...

— мы видим, что Шварц исповедует те же принципы, что и Житков.

Каламбур, которым так блистал Шварц в своих пьесах и бытовой речи, в этой прозе, с ее точностью найденных или восстановленных словесных значений, выглядел бы чужеродно (что и происходит в том месте, где каламбур все же проскальзывает, о художниках в «Печатном дворе»: *хотя и не графы, а графики*). Сам автор очень ясно излагает систему «русского юмора», культивировавшуюся в среде обэриутов.

Иронизируя, Шварц не нуждается теперь в резких контрастах, ему достаточно легкого грамматического нажима, чтобы достичь иронического эффекта. Вот он пересказывает письмо Чуковского А.Н.Толстому, лидеру начавшегося в то время коллаборационистского движения в русской эмиграции, названного (по названию сборника статей) «смена вех»: *Он приветствовал Алексея Николаевича, сменившего вехи...* Фраза была бы стилистически нейтральна в форме, допустим, *Он приветствовал Алексея Николаевича, участника «Смены вех»...* и т.п. Но название общественного движения, трансформированное в беглый причастный оборот, приобретает, особенно вслед за бытовым именем-отчеством вместо фамилии, бытовое, фамильярное звучание: *сменивший вехи* ассоциируется в этом контексте для нас с *сменивший брюки* или *сменивший белье*, что и разоблачает приспособленчество продажного литератора.

Установка на объективность сказывается и в том, что Шварц охотно уступает повествование персонажам. Отсюда в «ме» много современного фольклора: от малых речений

(*Не баба, не мужик, не кенарь, не кенарейка, не ворон, не ворона, прическа — Петр Великий!*) до целой вставной сказовой новеллы о великом Фатагене Керосиныче, с характерным мотивом гиперболического пьянства (ср. в «*Судьбе человека*» Шолохова рассказ о пребывании героя в немецком плену). Как мы уже указывали, свое отношение к господствующей идеологии и ее пропаганде Шварц определяет, вкладывая ее штампы в уста отвратительных персонажей. Иногда она пародируется и добродушно: «...заметьте, — прошу у вас, не иду просить на Уоль-стрит!» — говорит нищий.

Мрачный колорит времени передается и пейзажем, на фоне которого совершается рейс электрички. Верный беспристрастному тону прямолинейного отчета, Шварц перечисляет все десять станций маршрута, из которых пять даны с деталями негативного характера: *унылый поселок без признаков зелени; церковь, превращенная в склад; гастроном с белой по черному траурной вывеской; могилы, что теснятся над озером; длинные рабочие бараки у самого полотна,* — а остальные станции даны с нейтральными деталями, но не положительными.

В целом поэтика нового для Шварца стиля ориентировалась на самостоятельное функционирование точных деталей, «независимость деталей», выражаясь словами поэта, стала основным законом новой литературы. У Шварца в «ме» обилие таких многозначных деталей: татуировка «Эва» на руке нищенки; кошка, обедающая соленым огурцом, сидя на помойном ведре; вывеска «Дерябкинский рынок открыт целый день», невольный амфибрахий которой заставляет героя автоматически

версифицировать; — все это детали, не поддающиеся мгновенной и окончательной читательской расшифровке, всегда оставляющие иррациональную жизнь в остатке.

Своеобразными деталями этого же типа можно считать и некоторые грамматические приемы, особенно использование множественного числа в «Пятой зоне» (*мы* и *они*). Сначала множественное число используется для описания пассажиров как некоего единого тела. Глаголы, обычно обозначающие действие, совершаемое одним лицом, здесь поставлены во множественное число, причем исподволь их действие переносится с третьего лица («они») на первое множественного («мы»). *Видим мы его* /поезд/ *в лоб. Пассажиры гонятся за ней* /электричкой/. *Пассажиры делают движение в одну сторону, потом в другую, в растерянности своей никак не могут решить, в какую дверь броситься... И все мы любовались старшиной... У выхода мы видим...* И даже: *Тут они делают строгое лицо.*

Шварц очень тщательно ритмизует свою прозу. Так атмосфера приподнятости, значительности деяний Чуковского, Маршака, Житкова, их бурной, даже лихорадочной деятельности создается почти исключительно синтаксическими средствами. Фразы, в начале периода достаточно длинные, укорачиваются вплоть до членения точками на отдельные слова. Так происходит патетическое (не без иронии) нарастание ритма. Этой же цели иногда служит инверсия, скажем, перестановка притяжательного местоимения в позицию после слова в пародийно-библейском стиле (*Иногда выбегал он из дома своего*), прием, который в последнее время эпигоны используют неумеренно часто.

Когда-то маленький Женя Шварц неожиданно для самого себя решил, что он не будет инженером, как того хотела мама, а будет — «романистом»!

Евгению Львовичу привелось в его литературной судьбе быть редактором и журналистом, автором сказок и стихов для детей, киносценаристом, драматургом. Но к тому роду литературной деятельности, который он избрал шести-семилетним, он пришел лишь тогда, когда больное сердце стало намекать, что до конца остается лет семь-шесть.

Дрожащим, почти невозможным для чтения почерком заполнял он большие амбарные книги, ставя перед собой задачу, собственно говоря мало отличную от той, что осенила в детстве: «Захочу и его опишу».

Тридцать семь гроссбухов хранятся теперь в Центральном Государственном Архиве Литературы и Искусства.

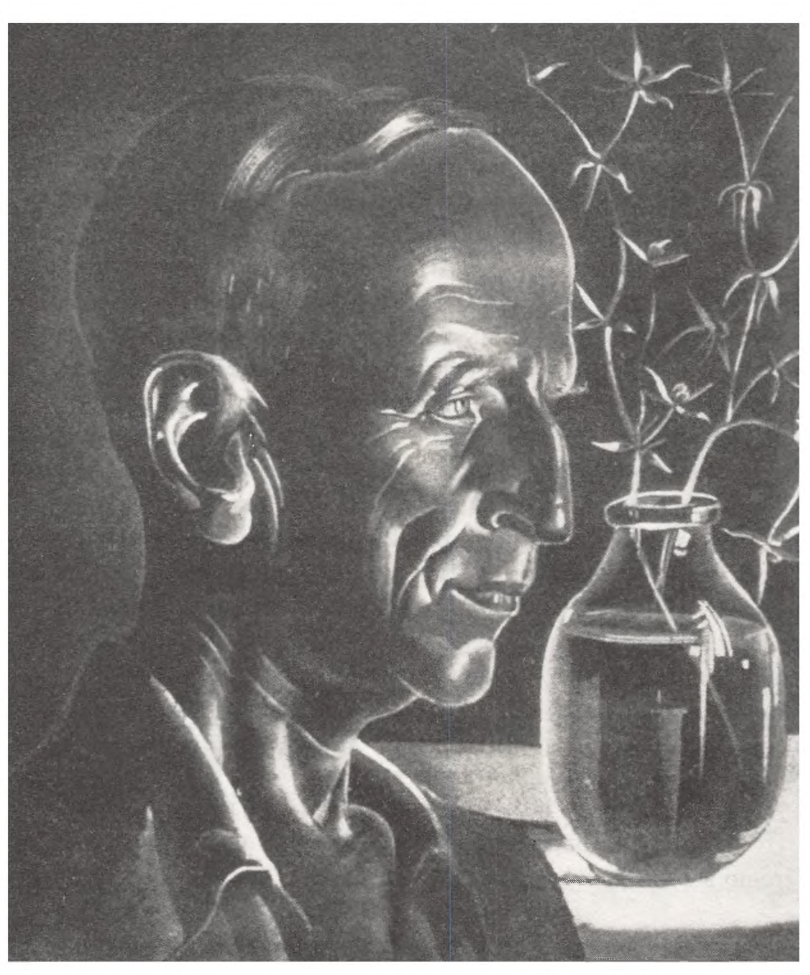
В 1970 году, предваряя крохотную публикацию отрывков из дневников Шварца (см. наше Приложение 2), К.Н.Кириленко писала: «ЦГАЛИ в настоящее время готовит их к печати, рассчитывая издать отдельной книгой этот своеобразный труд Е.Л.Шварца, полных тонких наблюдений, глубоких раздумий, острых характеристик»[12].

На дворе 1982-й, а обещанного издания нет как нет.

Впервые избранные записки Шварца предлагаются читателю в этой книге.

Л.В.Лосев
Hanover, New Hampshire

[12] «Встречи с прошлым». Вып.1, Москва, «Советская Россия», 1970, стр.230.



Евгений Львович Шварц. (1896-1958)
Портрет работы Н.П.Акимова.

Евгений Шварц

М Е М У А Р Ы

ДЕТСТВО

Около года назад я стал записывать все, что помню о своем детстве, по возможности ничего не скрывая и, во всяком случае, ничего не меняя и не придумывая. Начал я это делать, с непривычки смущаясь. Писать о себе я не умел. Писать не сочиняя — оказалось еще более трудным: я чувствовал себя связанным по рукам и ногам. Писать, не представляя себе читателя, было так же странно, как разговаривать с самим собой вслух подолгу. Тем не менее постепенно, не давая себе воли и не боясь быть безвкусным и нескромным, я втянулся в эту работу и стал временами испытывать даже некоторое наслаждение от собственной правдивости. Припомнить и рассказать похоже, оказывается, не менее увлекательно, чем, скажем, сочинить нечто убедительно и выразительно. Так или иначе, но я довел рассказ о детстве до 1908 года, то есть до перехода в третий класс. Лето этого года оказалось роковым временем моей жизни. Я еще не уверен, хватит ли у меня смелости рассказывать о себе дальше. Чтобы не расставаться с делом, которое невозможно бросить без угрызения совести, я решил выправить и переписать на машинке то, что уже так или иначе рассказано: мне интересно, прочитав, понять, что же у меня получилось, к чему привел столь длительный разговор с самим собой.

Двор. Кирпичная стена. Солнце. Кто-то задает мне знакомый всем детям вопрос: «Сколько тебе лет?», и я отвечаю: «Два года».

Вот передо мною полукруглые каменные ступени. Я знаю, что ведут они в клинику, где учатся отец и мать. Следовательно, это Казань.

Я сажусь на конку, гляжу на длинную деревянную ступеньку, которая тянется вдоль всего вагона. Это опять Казань, и мы едем опять в клиники, о которых я слышу множество разговоров с утра до вечера.

Серое небо, дождь, ветер, гулять нельзя. Я сижу на подоконнике и гляжу на крышу соседнего дома. Крыша ниже нашего окна. Она острая и крутая. Так я вижу сейчас. На железном шпиле дрожит и даже вертится иной раз большой железный петух.

Мы плывем на пароходе. Протяжный голос выкрикивает:

— Под та-ак!

У высокого зеленого берега напротив бежит маленький колесный пароходик. Мама что-то говорит о нем ласково и весело, как о ребенке, и я смеюсь и киваю пароходику.

Когда я родился, отец мой был студентом-медиком Казанского университета, а мать — курсисткой на акушерских курсах. На каникулы мы уезжали из Казани или к маминым родителям в Рязань, или к папиным в Екатеринодар. Вероятно, я начал помнить себя так рано именно благодаря постоянным переездам. Я страстно любил вагоны, паровозы, пароходы, все, что связано с путешествиями. Едва я входил в

поезд и садился на столик у окна, едва начинали стучать колеса, как я испытывал восторг. И до сих пор мне странно, когда меня спрашивают, не мешают ли мне поезда, которые проходят так близко от нашей дачи и громко гудят среди ночи.

Я помню огромные залы узловых станций (тогда мало было прямых поездов, и я узнал с очень ранних лет слово «пересадка»), помню нарядные, праздничные, как мне казалось, столы, блеск длинных овальных металлических крышек над блюдами на буфетной стойке, долгое ожидание и снова вагон с новыми соседями и вечное мое место: на столике у окна. Есть у меня старинное ощущение, разом возвращающее меня в детство. Вкусовое ощущение. На большой станции за белоснежным столом мы ели однажды какое-то мясное блюдо с очень тоненькими макаронами. И вот до сих пор, когда случается мне попробовать подобных макарон с мясным соусом, я переношусь на миг в огромный зал, слышу паровозные гудки за высокими сводчатыми окнами и испытываю счастье — мы в пути.

Кирпичная стена, освещенная солнцем, возле которой я стоял, отвечая «два года», вернее всего была в Екатеринодаре.

Кажется, тогда же я увидел Антона Шварца. Точнее, с тех пор его помню. Мы сидели рядом на стульях, которые в моем воспоминании кажутся очень высокими. Вспоминаю и что-то голубое, но так смутно, что передать тогдашнее это воспоминание сегодняшним языком моим затрудняюсь. То ли это была

Тонина шапочка с помпоном, то ли моя матроска, то ли ясное небо. В руках у каждого из нас было по шоколадке с передвижной картинкой: дернешь за бумажный язычок, и медведь откроет пасть или заяц закроет глаза. Мы показывали друг другу свои шоколадки. Хвастали.

В Екатеринодаре мы бывали часто, и поэтому квартиры, в которых мы жили, сливаются у меня в одну. Отчетливо припомнить могу только тот самый двор со стеной, где сидели мы с Тоней, да большую комнату, которую мы снимали, как мне почему-то показалось сейчас, у какого-то врача. Там я вместе с хозяйскими девочками смотрел «Ниву», переплетенную за год. В этом журнале была картинка «Голодающие индусы». Тощие дети, их матери, старик, бессильно лежащий на земле, запомнились мне навсегда. И мама, вероятно, не забыла эту картинку, потому что всю жизнь, желая определить очень худого человека, называла его: голодающий индус.

В 1898 году, кончив университет, отец получил назначение в город Дмитров, под Москвой.

Как мы приехали туда, где жили, как выглядел город — я забыл. Но зато отчетливо и навек запомнил следующее. Мама, с очень странным лицом, взглянув на которое я сразу собрался реветь, разбудила меня среди ночи.

— Не бойся! Мы поедем кататься.

Она торопливо одела меня, и мы сели в высокую таратайку, похожую на почтовую. Проснулся я уже в поезде. Как я узнал впоследствии, в Дмитрове отца арестовали по делу о студенческой социал-демократической организации, раскрытой

уже после его отъезда. Его увезли, а мы отправились следом за ним в Москву, а потом в Казань.

Мы с мамой собираемся на свидание к папе. Вот и свидание. Папа сидит по одну сторону стола, мама по другую, а посередине уселся бородатый жандарм, положив на стол между ними руки.

Я бегаю по комнате и кричу. Мне надоело слушать разговоры старших.

— Не кричи! — говорит отец. — Полицейский заберет.

— А вот полицейский! — отвечаю я и показываю на жандарма. И он смеется, и родители мои смеются, и я счастлив и доволен.

Любопытно, что это я запомнил. А страшную, напугавшую меня чуть не до судорог сцену, разыгравшуюся в конце свидания, забыл начисто, просто выбросил вон из души. Очевидно, она была уж слишком тяжела для моих трех лет.

Когда, прощаясь, отец поцеловал маму, жандарм вдруг схватил ее руками за щеки.

— Выплюньте записку, я приказываю!

Отец бросился на обидчика с кулаками. Вбежали солдаты, конвойные. Отца увели. Я завизжал так, что потом целый день не говорил, а сипел. Мама плакала. Ее все-таки обыскали, но никакой записки не обнаружили. Бородачу, которого я только что рассмешил, просто почудилось, что папа, целуя, передал записку маме.

После полугодового сидения в одиночке отца освободили. Теперь он состоял под гласным надзором полиции и не имел права служить в губернских городах.

Папа работает врачом в имении где-то в Кубанской области, кажется, недалеко от Армавира.

Вот он идет в высоких сапогах, в руках ружье. Он тщательно целится прямо в небо. И я гляжу туда же и вижу: ястреб кружится над нашим двором.

Имением владеют братья, вероятно, греки, потому что старшего из них зовут, к моему удивлению и даже негодованию, Папа Капитонович. Обедали мы за одним столом с хозяевами. Отсюда однажды я был с позором выведен вон. Произошло это следующим образом.

Старшие пытались установить — что такое понятие относительное. И приводили примеры тому.

Меня баловали, я был единственным ребенком в доме. Выражения, свойственные взрослым, когда употреблял их я, ужасно смешили присутствующих, чем я с наслаждением пользовался. И вот в тот несчастный день я решился блеснуть словом, значения которого не понимал. Оно представлялось мне редким и умным, я только что подхватил его во дворе. Я тогда уже усвоил, что перебивать старших не полагается. Поэтому я дождался перерыва в разговоре и в полной тишине спросил во весь голос:

— А .... — понятие относительное?

И вдруг по множеству признаков, учитываемых мгновенно, я понял, что совершил неловкость. Я осрамился! Папа схватил меня за руку и потащил вон из-за стола. Лицо его не было гневным, как в тех случаях, когда я доводил его до крайности. Более того. По вздрагивающим губам отца я понял, что он изо всех сил старается не засмеяться. Но это не утешило,

а еще больше ужаснуло меня. Позор! Я нечаянно сделал непристойность! Осрамился! Конечно, у меня тогда не нашлось бы слов, чтобы выразить свои чувства, но они были именно таковы, как я пишу сегодня. Позор, позор, который запомнился мне на всю жизнь.

Взрослые решили ехать куда-то кататься. Мама, к моему горю, собиралась тоже и вдруг неожиданно отказалась. Но едва я успел обрадоваться, как кто-то из взрослых — помню, что был он маленький и худенький человечек, — сказал с искренним сожалением:

— Вот тебе и раз!

И эти простые слова пронзили меня, обожгли. Я заплакал, так мне стало жалко бедного человечка.

В имении служил отец недолго. Он поссорился с одним из владельцев, и мы уехали оттуда почти так же скоро, как из Дмитрова, только на этот раз все втроем. Почему папа поссорился с хозяевами, не пойму. Я спрашивал об этом уже в тридцатых годах, но он отказался объяснить причины ссоры. Так же упорно молчала об этом мама.

И вот мы снова в Екатеринодаре.

У папиных родителей, у дедушки и бабушки, мы тогда не останавливались. Мама все не могла поладить с бабушкой. Как я узнал впоследствии, однажды даже они поссорились на свидании в тюрьме, чем довели папу до слез, а потом отправили ему совместно написанное письмо, чтобы его утешить.

Я знал, что бабушка и мама друг с другом не ладят, и это явление представлялось мне обязательным, я привык к нему. Я не осуждал бабушку за то, что она ссорится с мамой. Раз так положено — чего же тут осуждать или обсуждать.

Вижу как в тумане одну из таких ссор. Приключилась она, видимо, рано утром. Все женщины в нижнем белье — и мама, и бабушка, и Феня — младшая папина сестра. Они шумят, а я играю в уголке и слушаю.

Мама была неуступчива, самолюбива, бабушка — неудержимо вспыльчива и нервна. Они были еще дальше друг от друга, чем обычные свекровь и невестка. Рязань и Екатеринодар, мамина родня и папина родня, они и думали, и чувствовали, и говорили по-разному, и даже сны видели разные, как же могли они договориться? Впрочем, дедушка, папин отец, молчаливый до того, что евреи прозвали его «англичанин», суровый и сильный, ладил с мамой и никогда с ней не ссорился, уважал ее.

У бабушки часто случались истерики, после чего ей очень хотелось есть. На кухне знали эту ее особенность и готовили что-нибудь на скорую руку, едва узнавали, что хозяйка плачет.

И к истерикам бабушкиным относился я спокойно, как к явлению природы. Вот я сижу в мягком кресле и любуюсь: бабушка кружится на месте, заткнув уши, повторяя: «ни, ни, ни!» Потом смех и плач. Папа бежит с водой. Эта истерика особенно мне понравилась, и я долго потом играл в нее: повторял «ни, ни, ни!», заткнув уши и вертясь на месте.

Жили мы отдельно, но по воскресеньям ходили к бабушке и дедушке обедать. Я вдвоем с папой. Эти обеды я любил, меня принимали у стариков ласково, внимательно. Однажды дедушка даже уложил меня спать с собой после обеда. Но на новом месте мне не спалось. Перешагнув через спящего деда, который сонно спросил: «куда ты?» — и миновав стул, на котором висел белый дедушкин пиджак и белый жилет, я убежал в сад.

И вот, к величайшему своему удивлению и даже огорчению, я заявил в одно из воскресений, что обедать к деду не пойду. Почему? Подозреваю, что маме почему-нибудь не хотелось, чтобы я уходил, и она намекнула мне на это. Или я угадал без ее помощи, что ей не хотелось отпускать меня. Не помню. Но помню твердо, что я был сам удивлен решительности своего отказа.

Отец сердился, кричал, даже дернул меня за руку, на что я ответил ревом того качества, который не переждешь — как обложной дождь. И папа отправился к своим старикам один.

Впоследствии я нашел объяснение своему отказу. Я сказал, что у деда мне слишком туго завязывают салфетку. Но это была, вероятно, ложь, подсказанная кем-нибудь из взрослых. Они перебирали всевозможные причины моего поведения, и вот я остановился на одной из них.

Рязань, Рюмина роща, где жили на даче мамины родители, были мне роднее и ближе, чем Екатеринодар. Вероятно, мы бывали тут чаще. А вернее всего дело заключалось в том, что

в те годы я жил одной жизнью с мамой и вместе с нею чувствовал, что наш дом вот именно тут и есть. И рязанские воспоминания праздничнее екатеринодарских. Шелковы жили проще и веселее, чем Шварцы, у которых все было чинно, как и подобало в семье человека по прозвищу «англичанин».

Маму звали тут не Маней, по-екатеринодарски, а Машей. Дяди и тетки были ласковы с ней. Родители тоже. Мало понятный мне тогда, бешено вспыльчивый мой отец обычно исчезал, будто его и не было.

Может быть, Рязань я помню и до двухлетнего возраста. Есть одно воспоминание, косвенно подтверждающее это предположение.

Я лежу на садовой скамейке и решительно отказываюсь встать. Один из моих дядей стоит надо мной, уговаривая идти домой. Но я не сдаюсь. Я пригрелся. И я твердо знаю, что если встану, то почувствую мои мокрые штанишки. Значит, это происшествие относится к доисторическим временам.

Сильный, очень любимый мною запах лавандовой воды. Стрекочут ножницы. Дед причесывает кого-то сидящего в кресле особой головной щеткой, похожей на муфту с двумя ручками. Я вхожу, и меня приветствуют дружелюбно и дед, и его мастера, и сидящий в кресле клиент.

Дед — цирульник, поэтому на окне его парикмахерской шевелятся черные пиявки. Он отворял кровь, дергал зубы, ставил банки, стриг и брил, несмотря на то, что у него сильно дрожали руки. Дрожали руки и у моей мамы с тех пор, как я ее помню, дрожат и у меня.

Дед мой был незаконнорожденным. Фамилия его была Ларин, но для восстановления в правах, не знаю какими канцелярскими тонкостями и каким хитрым способом, он взял, женившись, фамилию бабушки и всю жизнь писался с тех пор Шелковым.

Отец мой советовал мне взять псевдонимом эту заброшенную фамилию деда. Он считал, что русскому писателю полагается иметь русскую фамилию. Но я почему-то не посмел, не решился на это. Смутное чувство неловкости остановило меня. Как будто я скрываю что-то. И я не смел считать себя писателем.

Отцом моего деда, то есть моим прадедом, по семейным преданиям, был рязанский помещик Телепнев. Во всяком случае, дочери Телепнева всю жизнь любили деда, часто навещали его и звали Феденькой. Когда экипаж их останавливался у дедовой цирульни, бабушка, улыбаясь, говорила мужу: «Иди, встречай, сестрицы приехали». Мама хорошо помнила дочерей Телепнева и утверждала, что они были похожи на ее отца.

Дед был человеком сдержанным и спокойным. Папа любил рассказывать, что первую свою хирургическую практику он получил у него в цирульне. Дед доверил ему выдернуть зуб у одного из своих пациентов. Папа выдернул, да не тот. И дед с непоколебимым спокойствием отнесся к этому и вырвал тот зуб, который следовало. Главное чудо было в том, что больной не обиделся.

Мама за всю жизнь дома ни разу не слышала, чтобы отец ее повысил голос, сказал бы резкое слово кому бы то ни было. А жилось не так-то уж легко. В тридцатых годах мама

со своей старшей сестрой пошли взглянуть на дом, в котором выросли. И ужаснулись. Сестер поразила теснота, в которой прошло их детство. Семеро детей и родители ютились в крошечной квартире. В свое время они не замечали этого. А сейчас они, привыкшие жить в коммунальных квартирах, все-таки ужасались.

Дед ухитрился дать почти всем своим детям высшее образование.

Саша, старшая сестра моей матери, вышла замуж, окончив гимназию, — у нее не было способностей к учению. Коля увлекся толстовством, оставил университет, пытался сесть на землю, но не надолго. В мое время этот самый любимый мной дядя служил в акцизе. Служил в акцизе, кончив юридический факультет, и старший мамин брат, молчаливый Гаврюша. Этого я больше всех боялся. Федя в те годы был мировым судьей.

Весна. Распустилась черемуха. Бабушка говорит, что у нее теперь одна мечта — увидеть, как Федя заседает в своей камере с золотой цепью на шее. Все улыбаются ласково, подшучивают над бабушкой, а я с уважением посматриваю на дядю Федю. И стараюсь представить себе его в золотой цепи, которая кажется мне похожей на цепочку от часов.

Часто дела у деда шли плохо. Однажды мама, совсем еще девочкой, узнала из разговоров старших, что они накануне разорения. И в воскресенье, когда вся семья была в церкви, мама стала молиться со всей верой и со всей силой, на какую она была способна. Она плакала молясь. И дня через два дед выиграл по займу, кажется, тысячу рублей. И мама верила, что деньги эти были даны по ее молитве.

Однажды мама, тогда еще совсем девочка, заметила, что дед грустен. И она подошла и приласкалась к нему. Это его глубоко тронуло. И он часто напоминал уже взрослой маме этот случай. Он все удивлялся: как могла Маша понять, что отцу так грустно.

И еще часто вспоминала мама, как однажды, когда дети, уже взрослыми людьми, собрались на даче в Рюминой роще и сидели, весело болтая, за вечерним чаем, дед, устроившись поодаль, глядел на них всех печально-печально. И мама решила, что старик думает: вот сколько сил я потратил на то, чтобы вырастить их, выучить, вывести в люди. А из них ничего не вышло.

«Ничего не вышло!» То есть, они не стали знамениты. Вот в чем сходились и Шелковы и Шварцы — в мечте о славе. Но, правда, мечтали они по-разному, и угрюмое шелковское недоверие к себе, порожденное мечтой о настоящей славе, Шварцам было просто непонятно. Недоступно.

«Ничего не вышло!» Сколько раз я слышал эти слова!

«Из тебя ничего не выйдет! Из таких людей ничего не выходит! При таком воспитании из мальчика ничего не выйдет!» Людей, из которых вышло нечто, я ни разу не видел. Они жили обычно в Москве, изредка — в Петербурге, и я с самого раннего возраста испытывал к ним почтение, близкое к религиозному.

Больше всего огорчало Шелковых, что ничего не вышло из Коли. Он был и скульптор, и на все руки мастер, и живой человек, понимавший все-все. Мама, во всяком случае, дружила с ним больше, чем со всеми братьями. Об этом я сужу

еще и потому, как я его любил, отражая мамину любовь. Но любил я его и потому, что ждал от него всяческих чудес. И он никогда не обманывал меня. То он показывал мне коробочку, в которой, как живые, повинуясь движениям его пальцев, плясали красные ягоды шиповника. То он звал меня торжественно в темный дачный коридор и там среди лета показывал зиму. Яркий свет озарял вдруг до сих пор ничем не примечательное пространство под лестницей. Там стоял теперь Снегур с метлой в руках, и глаза его светились. Кто-то съезжал с горки на санях. И с неба валил снег, и сестры Шелковы хлопали в ладоши — восхищались. И я хлопал в ладоши, и только бабушка ворчала, говорила, что Коля своими бенгальскими огнями сожжет дачу.

В один из приездов мы застали дядю Колю больным. Он и так был бледен и худ, а тут с подушки на меня глянуло совсем уж длинное и белое лицо. Улыбка открыла широко зубы, отчего дядя стал не веселым, а совсем уж страшным. Он протянул ко мне руки, но я бежал с плачем.

Все мамины братья и сестры были насмешники. Главное удовольствие их было дразнить. Мама часто вспоминала, как привезла она первый раз папу в Рязань, еще женихом, знакомиться. И во время игры в городки братья так задразнили гостя, что он пришел к маме и сказал: укладывай чемодан, мы сейчас же уезжаем. А маму они изводили тем, что отец приехал стриженным наголо. Говорила, что жених красивый, а привезла чудовище.

Все Шелковы, кроме Гаврюши и Коли, были очень талантливыми актерами. Играли они в любительском кружке, кото-

рый вел впоследствии известный историк театра барон Дризен. Фамилия эта звучала для меня далеко не торжественно. Насмешники Шелковы относились к барону хорошо, уважали его вкус, хвалили как режиссера, но, увы, назвали его титулом и именем ту самую болезнь, которой так часто страдали мы, дети, в летнее время.

Тетя Саша ставит наверх на платяной шкаф тарелку со сливками. Мама спрашивает, от кого она их прячет:

— К Ване барон Дризен пришел! — отвечает тетя. — Нет ли у тебя висмута?

Мама была характерной актрисой. Когда ей было восемнадцать лет, она сыграла Галчиху в «Без вины виноватые» так, что Дризен не хотел верить, что мама не видела в этой роли Садовскую.

Шелковы очень любили театр, любили еще больше играть в театре, одарены они были в этой области исключительно — но никто из них не пошел на сцену.

Я помню репетицию. Помню, как я стою на сцене рядом с мамой, и кажется мне, что я потерялся среди длинных темных юбок. И слово «репетиция» долго сливалось у меня с этим ощущением, не могу сказать, чтобы неприятным, а какимто особенным. Подмостки. Полутемно. Мужчина с бородкой объясняет что-то. Я стою среди темных юбок, как в лесу, и держу маму за руку.

В Рюминой роще стоял заброшенный двухэтажный деревянный дом Рюминых. В одной из широких рам внизу не то было вынуто стекло, не то открывалась форточка. И вот дядя Коля подсадил меня, пустил через эту форточку к Рюминым в дом.

Большой зал открылся передо мной. У стены стояли белые кресла, стулья, шкафы, маленький, похожий на стол рояль с открытой крышкой. И все-таки зал казался пустынным. Все было бело. Бело с золотом. Вдруг я заметил лестницу с белыми с золотом перилами, ведущую по стене наверх. Охваченный восторгом, почувствовав внезапно прелесть этого заброшенного пустого и пышного зала, я побежал наверх по лестнице на антресоли. Не помню уж, как удалось Коле вытащить меня. Сейчас мне показалось, что он влез в форточку и поймал меня на самом верху лестницы и унес на руках.

Через эту же форточку забрался в дом Рюминых студент в зеленых брюках со штрипками. Я запомнил его брюки, потому что барышни, спутницы студента, закричали: «Сторож идет!» И студент высунул в окно свою тоненькую ножку в зеленых брюках и принялся дергать ею, делая вид, что не может вылезти. Барышни визжали и хохотали, а мы даже и не улыбнулись. Мы с мамой осудили студента. Он совершил страшный грех. Он ломался.

Вот несколько воспоминаний, которые трудно отнести к какому-нибудь определенному времени.

Это я помню и не помню. Но старшие вспоминали этот случай по разным поводам всю жизнь.

Пасхальный стол. Я в праздничном настроении вхожу в столовую. И вдруг старшие слышат отчаянный плач. Я рыдаю, указывая на поросенка, лежащего на блюде, и повторяю в отчаянье одно и то же слово:

— Хвостик, хвостик! — повторяю я.

Я смутно помню чувство ужаса от лежащего на блюде неподвижного, разрезанного животного с точно таким же хвостиком, как у живого.

Это я видел во сне? Не пойму.

Я стою в церкви. Судя по всему, в алтаре. Где-то позади, я чувствую, должна быть моя нянька. Но я почти забыл о ней. Гляжу. Священники в светлых ризах служат, поют, взмахивая кадилом, и важно и торжественно поворачиваются, кадят в разные стороны. Где-то между ними, на блюде или на тарелочке лежит нечто, принимаемое мной за сливочное масло. Это нечто имеет полукруглую форму. Из него почему-то торчат волосики, прямые, с вершок в вышину. Эту странную службу я запомнил отчетливо на всю жизнь. И я в те времена часто играл в нее, поворачиваясь величественно и взмахивая кадилом.

Я потерял на улице маму. Я спрашиваю у людей, сидящих на лавочке возле магазина, где она, но люди только посмеиваются. А на другой стороне улицы, на крыше дома сидят гигантские дети, не то живые, не то нарисованные, и пишут что-то карандашами или острыми палочками на каких-то кругах. Много позже я узнал этих детей на рекламах граммофонной фирмы.

Я не помню имена своих нянек — они в моей жизни играли второстепенную роль. Я вырос на руках у мамы. Но когда я записывал свои первые, самые ранние воспоминания, имя Христина вдруг выплыло из тумана. Говорила она по-кубански. Вместо «ф» — «хв». Это я знаю вот почему. Я долго не умел

говорить «р». И меня учили, когда я ошибался: «Р-р-р! Р-р-р-р! Понимаешь?» И однажды, войдя в комнату, мама услышала, как я учил няньку: «Не хвантан, а фонтан. Р-р-р-р! Р-р-р! Понимаешь?»

Я вижу ее веселое лицо в веснушках. Слышу, как мама кому-то говорит, что вот у меня наконец появилась хорошая нянька.

Мы с Христиной стоим в толпе и любуемся на чьи-то пышные похороны. Вернувшись домой и опершись о колено отца, я рассказываю ему, что мы с Христиной видели, как хоронили царя.

— «Цавя»! — передразнивает меня папа добродушно.

Вскоре я узнаю из разговоров старших, что хоронили вовсе не царя. Умер городской голова.

К удовольствию мамы, я после этого рисую голову на ножках и спрашиваю, таким ли был голова при жизни.

Христина была наша екатеринодарская няня. Идет полоса екатеринодарская.

Вот из тумана выступает Клара Марковна. Светлые волосы, пенсне. Приветливая улыбка. Фамилия ее Шимкина. Наша екатеринодарская приятельница.

Вот еще екатеринодарская фамилия — Дуля. Мы живем у них на квартире.

Тут я обрезал себе столовым ножом средний палец левой руки. И обрезал не очень сильно. Но шрам, впрочем едва заметный, сохранил на всю жизнь.

Однажды, войдя под стол, я увидел там кошку. Я загово-

рил с ней, а она протянула лапу и оцарапала меня. Ни с того ни с сего. Ни за что ни про что. Я очень обиделся.

Вскоре после этого мне нанесена была обида еще более глубокая.

В саду пасся теленок с едва прорезавшимися рожками. Он казался мне огромным. И вдруг тоже ни с того ни с сего бычок этот бросился на меня. Я с воплями пустился удирать. У самого перехода во двор бычок меня настиг и прижал своими рожками к плетню.

Мама прибежала ко мне на выручку. Но она — и это еще более обидело меня — смеялась над этим ужасным происшествием.

Рюминская полоса жизни.

Тихие и мирные разговоры на балконе.

Тихий и мирный дед, который, впрочем, так часто грозит, что выпорет меня крапивой, что я стал называть его — дедушка крапивный. Так и записано на карточке деда, которую прислала нам бабушка после его смерти: «Милому внуку на память дедушку крапивного».

Дедушка, видимо, был несколько расточителен. Однажды мы ехали с ним на дачу на извозчике. И дедушка просил меня никому об этом не говорить. Я обещал. И, конечно, выполнил бы это обещание, если бы не разбились яйца, которые мы везли на дачу.

Извозчик сказал: «Эх, привезли хозяйке яичницу вместо яиц». Эта шутка показалась мне настолько смешной, что я рассказал ее за чаем.

Дяди и тетки расхохотались, дедушка схватился за голову в шутливом отчаянии. Я сначала испугался, но потом по лицу бабушки понял, что она не сердится. Она была в противовес деду экономна. Это от нее и надо было скрыть, что мы ехали на извозчике.

Вспоминается детство как легкое время, а мне пришлось много страдать физически. Прежде всего меня мучил диатез, который тогда называли экземой. До двух лет он покрывал не только щеки мои, но и голову. Думали даже, что у меня не вырастут волосы. Меня отпаивали коровьим молоком и закармливали яйцами всмятку, и никто не знал в те времена, что это как раз и вызывает диатез.

Кроме того, у меня приключилось воспаление лимфатической железы под ухом. Это почему-то заметили не сразу. Диагноз поставил профессор-педиатр после того, как родители уже пришли в отчаяние. От боли я кричал, не переставая, дни и ночи. Этот же профессор оперировал меня без всякого наркоза. И все это я забыл начисто, хотя другие, совсем незначительные события того же времени живут в моей памяти до сих пор.

Впрочем, о диатезе осталось одно воспоминание приятное. Нежные ласковые прикосновения маминых пальцев. Они накладывают на зудящую, замученную голову прохладную мазь. Паста, паста Лассара.

Все воспоминания тех лет сильны и радостны. А чем? Не назвать. Для радостного ощущения мира того времени у меня теперешнего нет слов.

Вот я стою в кондитерской. Знаю — это Екатеринодар. Того времени, когда мы снимаем комнату с «Нивой», переплетенной за год. Я счастлив и переживаю чувство, которому теперь могу подыскать только одно название — чувство кондитерской. Сияющие стеклом стойки, которые я вижу снизу. Много взрослых. Брюки и юбки вокруг меня. Круглые мраморные столики. И зельтерская вода, которую я тогда называл горячей за то, что она щипала язык. И плоское, шоколадного цвета пирожное, песочное. И радостное чувство, связанное со всем этим, которое я пронес через пятьдесят лет, и каких еще лет. И до сих пор иной раз в кондитерской оно вспыхивает, всего на миг, но я узнаю его и радуюсь.

Я в первый раз в жизни смотрю спектакль, днем. Как мне сказала впоследствии мама, это «Гамлет». По сцене ходит человек в короне и в длинной одежде и кричит: «О духи, духи!» Это я запомнил сам. А с маминых слов я знаю следующее.

После спектакля я вежливо попрощался со всеми: со стульями, со сценой, с публикой. Потом подошел к афише. Как называется это явление — не знал. Но, подумав, поклонился и сказал: «Прощай, писаная».

Я смотрю детский спектакль «Волшебная флейта». Сижу в первом ряду, а мама где-то позади. Герой попал в беду. Его стали вязать по рукам и по ногам, а он смотрел печально в публику. И я заорал «мама» и бросился бежать по проходу.

Мама успокоила меня, и я продолжал смотреть спектакль,

из которого запомнил только флейту. Раздвинулся куст, похожий на шкаф, и там-то флейта и обнаружилась. Впрочем, я сейчас припоминаю, что когда герой играл на флейте, то все начинали плясать поневоле.

Рязанская полоса жизни.

У Шелковых много лет живет кухарка Марьюшка. Она была хорошая женщина, все ее хвалили, а сын ее Васька, моих лет, был плохой мальчик, и все его бранили. За то, что он непослушный, и таскает у соседей яблоки, и разбил тарелку, свалив свой грех на кота, — горе с ним.

Однажды вечерком забежал я на кухню.

Там более обычного жарко. Пол влажный. В углу корыто — Марьюшка только что купала Ваську.

Он с мокрыми волосами, в чистой рубашке сидел на кухонном столе на простынке. Марьюшка смотрит на него ласково, а у Васьки вид разнеженный, смирный.

— Будешь кушать кашу, Васютка? — спрашивает мать любовно.

И он отвечает весело:

— А как же!

Эта мирная беседа удивляет меня. Как может Марьюшка разговаривать таким нежным голосом со злодеем?

Вечер. Мы пьем чай не на террасе, а в саду у кустов. И замечаем вдруг: преступный Васька пробирается по поляне. Хочет куда-то уйти без спроса. По злодейским своим делам. Он в красной рубашке. Босиком. Бабушка окликает злоумышленленника — и он исчезает в кухне.

На этом отрывочные воспоминания мои кончаются. Как будто все, что помню из доисторического времени моей жизни, рассказано. Приходит, по всей вероятности, девятисотый год...

* *
*

Но вот, наконец, совершается переезд в Майкоп, на родину моей души, в тот самый город, где я вырос таким, как есть. Все, что было потом, развивало или приглушало то, что во мне зародилось в эти майкопские годы.

Майкоп был основан лет за сорок до нашего приезда. Майкоп на одном из горских наречий значит — много масла, на другом — голова барыни, а кроме того, согласно преданиям, был окопан в мае — откуда будто бы и пошло имя Май-окоп. Несмотря на свою молодость, город был больше, скажем, Тулы. В нем было пятьдесят тысяч населения [...] С левой стороны примыкал к [городскому саду] Пушкинский дом, большое, как мне казалось тогда, красивое кирпичное здание. В одном крыле его помещалась городская библиотека, окна которой выходили в городской сад, а все остальное помещение было занято театром. Занавес театра представлял собою копию картины Айвазовского — Пушкин стоит на скале низко, над самым Черным морем. Помню брызги

прибоя, крупные, как виноград. Автором этой копии был архитектор, строивший Пушкинский дом. Старшие, к моему огорчению, не одобряли его работу. Это мешало мне восхищаться занавесом так, как того жаждала моя душа. Я вынужден был скрывать свои чувства. Вокруг Майкопа лежали с одной стороны великолепные черноземные степи, засеянные пшеницей и подсолнухом, а за Белой начинались леса, идущие до моря, до главного хребта, до Закавказья. Майкопский отдел богат, Майкопский отдел — житница Кубанской области, если бы городское хозяйство велось как следует, то город давно бы был вымощен, освещен, украшен и так далее и так далее. Все это я привык слышать чуть ли не с первых дней нашего пребывания в Майкопе. А пока что город летом стоял в зелени, казался чистым из-за выбеленных стен, но ранней весной, осенью да и теплой зимой тонул в черноземной грязи. На тротуарах росла трава.

В доме Родичева появились первые книги, которые помню до сих пор, и первые друзья, с которыми или рядом с которыми я прожил до наших дней. Книги эти были сказки в издании Ступина. Сильное впечатление произвели обручи, которыми сковал свою грудь верный слуга принца, превращенного в лягушку, боясь, что иначе сердце его разорвется с горя. Это было второе сильное поэтическое впечатление в моей жизни. Первое — слово «приплынь» в сказке об Ивасеньке. И надо сказать, что оба эти впечатления оказались стойкими. Сказку об Ивасеньке я заставлял рассказывать всех нянек, которые [...] менялись у нас еще чаще, чем квартиры.

В ступинских изданиях разворот и обложка были цветные. Картинки эти, яркие при покупке книжки, через некоторое время тускнели, становились матовыми. Я скоро нашел способ с этим бороться. Войдя однажды в комнату, мама увидела, что я вылизываю обложку сказки. И она решительно запретила продолжать мне это занятие, хотя я наглядно доказал ей, что картинки снова приобретают блеск, если их как следует полизать. В это же время обнаружился мой ужас перед историями с плохим концом. Помню, как я отказался решительно дослушать сказку о Дюймовочке. Печальный тон, с которого начинается сказка, внушил мне непобедимую уверенность, что Дюймовочка обречена на гибель. Я заткнул уши и принудил маму замолчать, не желая верить, что все кончится хорошо. Пользуясь этой слабостью моей, мама стала из меня, мальчика и без того послушного ей, совсем уже веревки вить. Она терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, все герои которой попадали в безвыходное положение. «Доедай, а то все утонут». И я доедал.

Перехожу теперь к дому, который стал для меня впоследствии не менее близким, чем родной, и в котором я гостил месяцами. До наших дней сохранилась близкая связь с этим домом [...], [домом] доктора Василия Федоровича Соловьева. Этот дом стоял на углу, недалеко от армянской церкви, которая еще только строилась в те дни. Был он кирпичный, нештукатуреный. К нему примыкал большой сад,

двор со службами. Направо от кирпичного дома стоял белый флигель. Здесь Василий Федорович принимал больных. На площади вечно, как на базаре, толпились возы с распряженными конями. На возах лежали больные, приехавшие из станиц на прием к Василию Федоровичу. Он был доктор, известный на весь Майкопский отдел. Практика у него была огромная. Отлично помню первое мое знакомство с Соловьевыми. Мы пришли туда с мамой. Сначала познакомились с Верой Константиновной, неспокойное, строгое лицо которой смутило меня. Я почувствовал человека нервного и вспыльчивого по неуловимому сходству с моим отцом. Сходство было не в чертах лица, а в его выражении. Познакомили меня с девочками: Наташа — годом старше меня, Леля — моя ровесница и Варя — двумя годами моложе. Девочки мне понравились. Мы побежали по саду, поглядели конюшню, запах которой мне показался отличным, и нас позвали в дом. Мама собиралась уходить, а Вера Константиновна с девочками провожать нас. Когда Наташа стала надевать свою шляпку, выяснилось, что резинка на ней оборвана. Вера Константиновна стала чернее тучи. «Почему ты не сказала мне, что оборвала резинку?» — «Я не обрывала». — «Не лги!» Разговор стал принимать грозный характер. Я отлично понимал, по себе понимал, куда он ведет. И, страстно желая во что бы то ни стало отвести неизбежную грозу, я сказал неожиданно для себя: «Это я оборвал резинку». Тотчас же темные глаза Веры Константиновны уставились на меня, но уже не гневно, а удивленно и мягко. Меня подвергли допросу, но я стоял на своем. Вскоре мы шли по улице — дети впереди,

а старшие позади. Я слышал, как старшие обсуждали вполголоса мой поступок, но ни малейшей гордости не испытывал. Почему? Не знаю. Мы зашли в пекарню Окумышева, турка с огромной семьей, члены которой жили по очереди то в Майкопе, то в Константинополе. Там угостили нас пирожными, и мы простились с новыми знакомыми. Вечером мама еще раз допросила меня, но я твердо стоял на своем. Засыпая, я слышал, как мама с грустью сообщила отцу, что, очевидно, резинку и на самом деле оборвал я. Но и тут я ни в чем не признался. Теперь несколько слов о моем отце. Он был человек сильный и простой. В то время ему было, примерно, двадцать семь лет. Он скоро оставил должность городского врача и стал работать хирургом в городской больнице [...] Продолжал он и свою политическую работу, о которой узнал я много позже. У них была заведена даже подпольная типография, которую потом искал старательно майкопский истпарт, да так и не нашел. Было предположение, что мать некоего Травинского (кажется), в сарае которых зарыли типографию, вырыла ее да и выбросила по частям в Белую. Участвовал отец и в любительских спектаклях. Играл на скрипке. Пел. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать на людях. Мать была много талантливее и по-русски сложная и замкнутая.

Мы сидим с мамой на крылечке нашего белого домика. Я полон восторга — мимо городского сада, мимо пивного завода, мимо аптеки Горста двигается удивительное шест-

вие. Мальчишки бегут за ним свистя, взрослые останавливаются в угрюмом недоумении — цирк, приехавший в город, показывает себя майкопцам. Вот шествие проходит мимо нас — кони, ослы, верблюды, клоуны. Во главе шествия две амазонки под вуалями, в низеньких цилиндрах. Помню полукруг черного шлейфа. Взглядываю на маму — и вижу, что ей не нравится цирк, амазонки, клоуны, что она глядит на них невесело, осуждая. И сразу праздничное зрелище тускнеет для меня, будто солнце скрылось за облаком. Слышу, как мама рассказывает кому-то: «Наездницы накрашенные, намалеванные», — и потом повторяю это знакомым целый день.

Книги. В это время я читал уже хорошо. Как и когда научился я читать, вспомнить не могу [...] Кое-какие сказки ступинских изданий я не то знал наизусть, не то умел читать. Толстые книги мама читала мне вслух, и вот в жизнь мою вошла на долгое время, месяца на три-четыре, как я теперь соображаю, книга «Принц и нищий». Сначала она была прочитана мне, а потом и прочтена мною. Сначала по кусочкам, затем вся целиком, много раз подряд. Сатирическая сторона романа мною не была понята. Дворцовый этикет очаровал меня. Одно кресло наше, обитое красным бархатом, казалось мне похожим на трон. Я сидел на нем, подогнув ногу, как Эдуард VI на картинке, и заставлял Владимира Алексеевича становиться передо мною на одно колено. Он, обходя мой приказ, садился перед троном на корточки и утверждал, что это все равно. Среди интересов, которыми я жил, чтение заняло уже некоторое место.

И вот однажды [...] я увидел семью Крачковских. Это событие произошло в поле, между городским садом и больницей. Перейдя калитку со ступеньками, мы прошли чуть вправо и уселись в траве на лужайке. Недалеко от нас возле детской колясочки увидели мы худенькую даму в черном с исплаканным лицом. В детской коляске сидела большая девочка, лет двух. А недалеко собирала цветы ее четырехлетняя сестра такой красоты, что я заметил это еще до того, как мама, грустно и задумчиво качая головой, сказала: «Подумать только, что за красавица». Вьющиеся волосы ее сияли, как нимб, глаза, большие, серо-голубые, глядели строго — вот какой увидел я впервые Милочку Крачковскую, сыгравшую столь непомерно огромную роль в моей жизни. Мама познакомилась с печальной дамой. Слушая разговор старших, я узнал, что девочку в коляске зовут Гоня, что у нее детский паралич [...], что у Варвары Михайловны — так звали печальную даму — есть еще два мальчика: Вася и Туся, а муж был учителем в реальном училище и недавно умер. Послушав старших, я пошел с Милочкой, молчаливой, но доброжелательной, собирать цветы. Я тогда еще не умел влюбляться, но Милочка мне понравилась и запомнилась, тем более что даже мама похвалила ее. Хватит ли у меня храбрости рассказать, как сильно я любил эту девочку, когда пришло время?

На 1903 год мне выписали журнал «Светлячок», издаваемый Федоровым-Давыдовым. Он меня не слишком обрадовал. Был он тоненький. От номера до номера проходило

невыносимо много времени, неделя в те времена казалась бесконечной. А кроме всего, я жил сложно, а журнал был прост.

Вероятно, в это же время я бывал часто у Соловьевых. У девочек в комнате стояла этажерка, каждый этаж которой был превращен в комнату — там жили куклы. Я обожал играть в куклы, но всячески скрывал эту постыдную для мальчика страсть. И вот я вертелся вокруг этажерки и ждал нетерпеливо, когда девочек позовут завтракать или обедать. И когда желанный миг наступал, то бросался к этажерке и принимался играть наскоро, вздрагивая и оглядываясь при каждом шорохе. Мама знала об этой моей страсти, посмеивалась надо мной, но не выдавала меня. Когда мы были с нею в цирке? Вероятно, вскоре после того, как видели его торжественный въезд в город. Во всяком случае это было летом, потому что зимнего цирка в городе не было. Мы смотрели представление в шапито, и я впервые погрузился в обстановку особенную, цирковую, которая очень понравилась бы мне, если бы мама не смотрела на арену так сурово и печально. Из-за этого я запомнил только китайских фокусников, которых мама похвалила. Тем не менее я был счастлив, и весь мир у меня в этот день вращался вокруг цирка. Я не преувеличиваю. Когда мы шли домой, то встретили на улице даму с двумя мальчиками. «Опоздали! — закричал им я. — Уже кончилось представление!»

Попробую рассказать, как я играю в столовой вечером, один. Нянька с Валей, мама ушла куда-то в гости. Я наде-

юсь, что она вернется, пока я еще не лег спать. Керосиновая лампа освещает только стол. По углам полумрак. В зале — полная тьма. В спальне горит ночничок. Очень тихо, но для меня полной тишины не существует. Оттого, что я болею малярией и принимаю дважды в день пилюли с хиной, у меня звенит в ушах. И в этом звоне я могу, если захочу (это похоже на те зрительные представления, которые я вызываю, закрыв глаза), услышать голоса. Вот кто-то зовет беззвучно, не громче, чем звенит в ушах, растягивая, растягивая: «Же-е-е-е-еня!» Темнота, как я открыл недавно, не менее сложна, чем тишина. Она состоит из множества мурашек, которые мерцают, мерцают, движутся. Если в темноте быстро поведешь глазами, то иногда видишь красную искру. Все эти свойства темноты и тишины я ощущаю непрерывно вокруг себя. Тревожит меня дверь в зал. Сядешь к ней лицом — видишь мрак, сядешь спиной — чувствуешь его за плечами. Но освещенный стол отвлекает и утешает меня. Сейчас стол похож на площадь. Дома вокруг площади сделаны из табачных коробок и коробок из-под гильз [...] Коробки стоят на боку. Крышки подняты и поддерживаются кеглями, как навесы. В домах — живут. Пастух из игры «Скотный двор» стоит под навесом на подставке зеленого цвета с цветочками, как бы на траве, что не совсем идет к данному случаю. В другом живет заводной мороженщик с лопнувшей пружиной. Сундук его давно отломился. В третьем живет деревянный дровосек.

Деревянный дровосек тоже часть известной кустарной игрушки — дровосек и медведь бьют деревянными молотами

по деревянной наковальне. Игрушка давно распалась на части, и дровосек живет, как я сказал уже, в третьем коробочном, пахнущем табаком доме. Медведь живет возле. Я играю, вожу жителей города на санях, но эта ровная площадь между картонными домами, освещенная лампой, навесы, поддерживаемые кеглями, вызывают у меня мечты сильные, но трудно определимые. Не то мне хочется стать маленьким, как заводной мороженщик, и ходить тут по площади, покрытой скатертью, не то, чтобы этот игрушечный город стал настоящим и я жил бы в нем. Знаю только, что играть, как я играю, мне мало. А между тем вокруг становится все тише, и звон в ушах все отчетливее, нянька не возвращается, очевидно задремав возле Валиной кроватки. Из столовой стеклянные двери ведут в коридор. И мне кажется, что вот-вот кто-то заглянет в стекло. Я воображаю ясно, как кто-то рассказывает страшный рассказ: «Старшие ушли, а дома осталась нянька и дети...» От всех этих мыслей страх и тревога все больше овладевают мной. И темное пространство под столом кажется мне теперь угрожающим. Я подбираю ноги. Мне давно уже пора спать, но я не смею встать, не смею позвать няньку. И вдруг — все успокаивающий, все разрешающий шум отпираемой двери, голоса родителей. Я пробегаю, зажмурившись, наполненный мерцающей тьмой зал и бросаюсь на шею маме. Это было в 1902 году.

Я стал гораздо самостоятельнее. Я один ходил в библиотеку — вот тут и началась моя долгая, до сих пор не умершая любовь к правому крылу Пушкинского дома. До сих

пор я вижу во сне, что меняю книжку, стоя у перил перед столом библиотекарши, за которым высятся ряды книжных полок. Помню и первые две фамилии каталога: Абу Эдмонд, «Нос некоего нотариуса»; Амичис Эдмонд, «Экипаж для всех». Меня удивляло, что в каталоге знакомые фамилии писателей переиначивались. Например, Жюль Верн назывался Верн Жюль. Левее стола библиотекарши, у прохода в читальню, стоял другой стол, с журналами. Но в те годы читальный зал я не посещал. Я передавал библиотекарше прочитанную книгу и красную абонементную книжку, она отмечала день, в который я книгу возвращаю, и часто выговаривала мне за то, что читаю слишком быстро. Затем я сообщал ей, какую книжку хочу взять, или она сама уходила в глубь библиотеки, начинала искать подходящую для меня книгу. Это был захватывающий миг. Какую книгу вынесет и даст мне Маргарита Ефимовна? Я ненавидел тоненькие книги и обожал толстые. Но спорить с библиотекаршей не приходилось. Суровая, решительная Маргарита Ефимовна Грум-Гржимайло, сестра известного путешественника, внушала мне уважение и страх. Ее побаивались, но и подсмеивались над ней. Ее знал весь город и как библиотекаршу, но еще более как «тую дамочку, чи баришню, что купается зимой». Одна из Валиных нянек рассказывала, что видела, как библиотекарша «сиганула в прорубь и выставила оттуда голову, как та гадюка». Как я теперь понимаю, у Маргариты Ефимовны был выработан строгий порядок жизни, из которого обыватели только и знали, что неприветливость да зимние купанья. Она была одинока.

К девочкам Соловьевым Вера Константиновна выписала откуда-то учительницу, которая старшим не понравилась. Они ее нашли глуповатой. Я помню смутно молодую, незначительную лицом девицу, которая к тому же чуть шепелявила. Тогда это мне казалось несомненным доказательством глуповатости, о которой говорили старшие. Но с ней, с этой учительницей, у меня связано сильное поэтическое переживание — она прочла нам вслух «Бежин луг». Впервые я был покорен не занимательностью рассказа, а его красотой. Как, влюбившись, я сразу понял, что со мною происходит, так и тут я сразу как бы угадал поэтичность рассказа и отдался ей с восторгом. Я не выслушал, а пережил «Бежин луг».

К этому времени стала развиваться моя замкнутость, очень мало заметная посторонним, да и самым близким людям. Я был несдержан, нетерпелив, обидчив, легко плакал, лез в драку, был говорлив. Но самое главное скрывалось за такой стеной, которую я только теперь учусь разрушать. Казалось, что я весь был как на ладони. Да и в самом деле — я высказывал и выбалтывал все, что мог. Но была граница, за которую переступать я не умел. Я успел отдалиться от мамы, которой недавно еще рассказывал все, но никто не занял ее места. Причем скрывал я самые разнообразные чувства и мечты, иногда неизвестно, по каким причинам [...] Скрывал я и коня, и маленьких человечков, о которых не рассказывал я никому и не написал ни строчки до настоящей минуты. Конь жил в песчаной котловине,

в обрывистой части городского сада. Я звал его особым свистом сквозь зубы и отпускал девятикратным свистом обыкновенным, губным. В свободное от службы время конь мог превращаться в человека, путешествовать, где ему захочется, больше по Африке и по Индии, есть колбасу, каштаны, конфеты, вообще наслаждаться жизнью. Но по условному свистку он мгновенно переносился в песчаную котловину, а оттуда летел ко мне. И я садился на него верхом и ехал в библиотеку, в лавочку, в булочную, к Горсту за сельтерской, словом, всюду, куда меня посылали, соблюдая осторожность, чтобы встречные не угадали по походке, что я еду верхом.

В тот год я стал еще больше бояться темноты и при этом по-новому. Темнота теперь населилась существами враждебными и таинственными. Здоровый страх перед разбойниками, ворами, словом, перед врагами-людьми заменился мистическим. Кроме коня-друга, верхового моего коня, существовала лошадь-привидение. Она появлялась в дверях спальни, ведущих в столовую. Она шла на задних ногах. На спине ее болтался мешок, который она придерживала копытами. Я ее ни разу не видел, разумеется, но представлял ее ясно, во всех подробностях. Что это было за существо, откуда, чего хотело от меня, что лежало в ее мешке, я не выяснял. Все представления мои об этом призраке были тоже призрачны, но я ужасно боялся лошади с мешком. У Андрея Андреевича Жулковского был племянник, художник, юноша лет двадцати. Однажды он ушел в горы, на эскизы, и не вернулся. Его

искали, искали, да так и не нашли. И мама сказала однажды: «Нет, уж он не вернется. Лежит где-нибудь в пропасти его скелет». Эти слова меня ушибли надолго. Я все думал и думал об этом, и вот в темноте появился еще один призрак — скелет бедного художника. Его постоянное местопребывание было под моей кроватью. Поэтому я на ночь ничего не оставлял на полу — ни одной игрушки, ни одной части моей одежды, даже башмаки ставил на подоконник или на стул, из-за чего у меня шли вечные войны с мамой. Были и другие злые духи, менее определившиеся, но не менее страшные. И вот в противовес им я создал армию маленьких человечков. Они жили у меня под одеялом, я нарочно оставлял им места, закутываясь на ночь. Жили они так же счастливо, как мой друг конь — ели колбасу, пирожные, шоколад, апельсины, читая за едой сколько им вздумается, имели двухколесные велосипеды. Путешествовали. Но при малейшей опасности они выстраивались на одеяле и на постели и отражали врага.

Весь ночной призрачный мир начисто исчезал днем, кроме доброго коня, вызываемого свистом. Никто не знал о существовании этого мира, ни один человек — я впервые рассказываю о нем.

В хрестоматиях я прочел отрывки из «Детства и отрочества», где удивило меня и обрадовало описание утра Николеньки Иртеньева. Значит, не один я просыпался иной раз с ощущением обиды, которая так легко переходила в слезы. Там же прочел я «Сон Обломова». С того далекого времени

до нынешнего дня всегда одинаково поражает меня стихотворение Некрасова «Несжатая полоса». Самый размер наводит тоску, а в те дни иногда и доводил до слез. Бесконечно перечитывал я и «Кавказского пленника» Толстого. Жилин и Костылин, яма, в которой они сидели, черкесская девочка, куколки из глины — все это меня трогало, сейчас не пойму уже чем. В это же время, к моему удивлению, я выяснил, что «Робинзонов Крузо» было несколько. От коротенького, страниц в полтораста, которого я прочел первым, до длинного, в двух толстых книжках, который принадлежал Илюше Шиману. Этот «Робинзон» мне не нравился — в нем убивали Пятницу. Я не признавал Илюшиного «Робинзона» настоящим, несмотря на мою любовь к толстым книгам. Неожиданно разросся, к моему восторгу, и «Гулливер», знакомый мне по коротенькой ступинской книжке с цветными картинками. Там рассказывалось только о его путешествии к лилипутам, а в издании «Золотой библиотеки» — и обо всех других приключениях Гулливера. Однажды у папы на столе я нашел книгу, на корешке которой стояла надпись: «Том второй». Я обрадовался, думая, что как «Робинзон» и «Гулливер», так и «Принц и нищий» имеет продолжение. Надпись на корешке я отнес к Тому Кенти. Но, увы, раскрыв книжку, я увидел, что она медицинская.

Итак — читал я много, и книги начинали заполнять ту пустоту, которая образовалась в моей жизни после рождения брата. На вопрос «Кем ты будешь?» мама обычно отвечала за меня: «Инженером, инженером! Самое лучшее

дело». Не знаю, что именно привлекало маму к этой профессии, но я выбрал себе другую. Однажды мы ходили взад и вперед по большому залу [...], мама с Валей на руках и я. Очевидно, мы разговаривали менее отчужденно, чем обычно, потому что я вдруг признался, что не хочу идти в инженеры. «А кем же ты будешь?» Я от застенчивости лег на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полушепотом: «Романистом». В смятении своем я забыл, что существует более простое слово «писатель». Услышав мой ответ, мама нахмурилась и сказала, что для этого нужен талант. Строгий тон мамы меня огорчил, но не отразился никак на моем решении. Почему я пришел к мысли стать писателем, не сочинив еще ни строчки, не написавши ни слова по причине ужасного почерка? Правда, чистые листы нелинованной писчей бумаги меня привлекали и радовали, как привлекают и теперь. Но в те дни я брал лист бумаги и проводил по нему волнистые линии. И все тут. Но решение мое было непоколебимо. Однажды меня послали на почту. На обратном пути, думая о своей будущей профессии, встретил я ничем не примечательного парня в картузе. «Захочу и его опишу», — подумал я, и чувство восторга перед собственным могуществом вспыхнуло в моей душе. Об этом решении своем я проговорился только раз маме, после чего оно было спрятано на дне души рядом с влюбленностью, тоской по приморской жизни, верным конем и маленькими человечками. Но я просто и не сомневался, что буду писателем.

...Я узнал от мамы, что приехал синематограф, будут показывать картины, на которых все движется, как живое [...] И вот это свершилось. Занавес с Пушкиным и каплями, крупными, как виноград, был поднят. Вместо него висело туго натянутое белое полотно, политое водой. И вот на нем появился светящийся прямоугольник, неведомо откуда взявшийся. В те дни проекционная камера помещалась по ту сторону экрана. Затем он сменился названием картины, написанным не по-русски. Заиграл оркестр, и начались чудеса. Сначала мы увидели приключения неудачника, который сшибал лестницы маляров и падал в ямы с известью. Потом драму — игрок ограбил кого-то, и его гильотинировали на наших глазах, и в заключение нам показали индейцев в диких прериях. Они похитили дочку фермера, но погоня их настигла, и девочка была спасена. Кони скакали по прериям, и высокая трава качалась долго после того, как всадники уже скрылись, — это поразило меня. Правда, чистая правда — картины эти были живые. Так я полюбил кино и долго считал, что настоящее его имя синематограф.

Вот так и шли дни за днями, полные горестями и радостями, и приблизилась весна 1905 года. Я пошел держать экзамен в реальное училище. Оно, училище, готовилось уже к переезду в новое красивое, двухэтажное здание, которое в последний раз видел я дня три назад во сне. Сколько моих снов внезапно из самых разных времен и стран приводили меня в знакомые длинные коридоры с кафельными полами, или в классы, или в зал с портретами писателей.

Очевидно, те восемь лет, что проучился я в реальном училище, оставили вечный отпечаток на мой душе, если я через сорок почти лет чувствую себя как дома, очутившись, во сне, на уроке или на перемене в зале. Перед экзаменом я волновался.

Повторяю еще раз — если воображение у меня развилось не по возрасту, если я склонен был к мистическим переживаниям, если я страдал более своих ровесников, то и был глупее их, не умел сосредоточиться и подумать над самой ничтожной задачкой. И поэтому на экзамене задачу я не доделал. То есть не стал решать последний вопрос. Не отнял прибыль из общей выручки купца и не узнал, сколько было заплачено за сукно. Поэтому ответ у всех был девяносто, а у меня сто. Листы нам раздавал и вел экзамен красивый мрачный грузин Чкония. Узнав, что ответ у меня неверный, я мгновенно упал духом до слабости и замирания внизу живота. До сих пор я не сомневался, что выдержу экзамен. Почему? Да потому, что провалиться было бы уж слишком страшно. И вот этот ужас вдруг встал передо мной. Мама ушла домой. Я оставался один без поддержки и помощи. И я решился, несмотря на свой страх перед Чконией, подойти к нему, когда он в учительской фуражке с кокардой и белым полотняным верхом шел домой. Я спросил у него, сколько мне поставили. Он буркнул неразборчиво что-то вроде «четыре». И я разом утешился. Я готов был поверить во что угодно, только бы не стоять лицом к лицу со страшной действительностью. И до сих пор не знаю, правильно ли я расслышал Чконию. Все остальные экзамены прошли очень хорошо.

...Однажды Чкония сказал нам, что завтра урок рисования состоится. «Принесите тетрадку, карандаши, резинку». И это обрадовало меня. Я утром вскочил еще до длинного гудка и приготовил все, что требовал учитель. Веселый, выбежал я в столовую. Все были в сборе. Папа не ушел в больницу. Увидев меня, он сказал: «Можешь не спешить — занятий сегодня не будет». В любой другой день я обрадовался бы этому сообщению, а сегодня чуть не заплакал. Мне трудно теперь понять, чего я ждал от урока рисования, но я так радовался, так мечтал о нем! Я вступил в спор, доказывая, что если бы сегодня был праздник, то в училище нам сообщили бы об этом. Папа, необычно веселый, только посмеивался. Наконец, он сказал мне: «Царь дал новые законы, поэтому занятия и отменяются». Будучи уже более грамотным политически, чем прежде, я закричал плача: «Дал какие-то там законы себе на пользу, а у нас сегодня рисование!» Все засмеялись так необычно для нашего дома весело и дружно, что я вдруг понял: сегодня и в самом деле необыкновенный день. Наскоро позавтракав, мы вышли из дому и вдруг услышали крики «ура», музыку. На пустыре против дома Бударного, где обычно бывала ярмарка и кружились карусели, колыхалась огромная толпа. Над толпой развевались флаги, не трехцветные, а невиданные — красные. Кто-то говорил речь.

Оратор стоял на каком-то возвышении, далеко в середине толпы, поэтому голос его доносился к нам едва-едва слышно. Но прерывающие его через каждые два слова крики: «Пра-

вильно!», «Ура!», «Да здравствует свобода!», «Долой самодержавие», — объяснили мне все разом лучше любых речей. Едва я увидел и услышал, что делается на площади, как перенесся в новый мир — тревожный, великолепный, праздничный. Я достаточно подслушал, выспросил, угадал за этот год, чтобы верно почувствовать самую суть и весь размах нахлынувших событий. Папа скоро исчез — увел его бледный, вдохновенный старшеклассник Клименко и кто-то из тех наших гостей, которых звали по имени, но без отчеств. В толпе я испытал все неудобства маленького роста. Я не видел ораторов. Как я ни подпрыгивал, как ни старался, кроме чужих спин, ничего я не видел. В остальном же я с глубокой радостью слился с толпой. Я кричал, когда все кричали, хлопал, когда все хлопали. Каким-то чудом я раздобыл тонкий сучковатый обломок доски аршина в полтора длиной и приспособил к нему лоскуток красной материи. В ней недостатка не было — ее отрывали от трехцветных флагов, выставленных у ворот. Скоро толпа с пением «Марсельезы», которую тут я и услышал в первый раз в жизни, двинулась с пустыря, мимо армянской церкви к аптеке Горста и оттуда налево, мимо городского сада. У Пушкинского дома снова говорились речи. Трехлетний Валя сидел у мамы на руках, глядел на толпу с флагами, и, как я узнал недавно, это стало самым ранним воспоминанием его жизни. И было что запомнить: солнце, красные флаги, пение, крики, музыка. Возле нашего училища толпа задержалась. На крыше над самой вывеской «Майкопское Алексеевское реальное училище» развевался трехцветный флаг.

Реалист-старшеклассник, кажется, по фамилии Ковалев*, появился возле флага, оторвал от него синие и белые полотнища, и узенький красный флаг забился на ветру. Толпа закричала «ура». Нечаянно или нарочно, возясь с флагом, Ковалев опрокинул вывеску. Толпа закричала еще громче, еще восторженнее. Реальное училище было названо Алексеевским в честь наследника, и в падении вывески с этим именем все заподозрили нечто многозначительное, намекающее. Когда толпа уже миновала пустырь против больницы, снова заговорили ораторы. На этот раз мне удалось пробраться ближе к трибуне. Маленькая, черненькая, молоденькая, миловидная фельдшерица Анна Ильинична Вейсман, прибежавшая прямо из больницы в белом халате, просто и спокойно, как будто ей часто приходилось говорить с толпой, стоя на ящиках, попросила народ, когда он будет решать свою судьбу в Государственной думе, подумать и о правах женщин. Мы пообещали, крича и аплодируя. Выступил тут и папа. И он говорил спокойно, вносил ясность во что-то, предлагал поправку к чему-то. И он понравился нам, и ему мы хлопали и кричали: «Правильно!» Как сейчас вижу белую фигурку Анны Ильиничны и высокого моего папу в черном плаще. Правая его рука была на перевязи. Он поранил палец в больнице, ранка не заживала и беспокоила отца. Веселым я его увидел в первый раз после большого промежутка времени в этот необыкновенный день. Назавтра занятия в реальном училище

---

* Е.Л.Шварц ошибся, надо: Коновалов.

возобновились, но в воздухе, как перед грозой, носилось беспокойство, для нас веселое, для учителей тяжелое. Старшеклассники то и дело устраивали сходки в зале. Отменяли занятия. Чкония пожелтел и еще недружелюбнее и подозрительнее поглядывал на нас, хотя приготовительный класс не бунтовал ни разу.

Уроков рисования у нас так и не было ни разу в приготовительном классе, но тетрадь для рисования у меня уже приходила к концу, и я собирался купить новую. Рисовал я одно — толпы с красными флагами. Люди — восьмерки на тоненьких ножках — окружали трибуну сажени в две высотой. С такой трибуны оратор был виден всем, что у меня в последнее время стало навязчивой мечтой. Замечу выступ на стене реального училища или высокий балкон и думаю, что оратора, говорящего с такой высоты, и я увидел бы. Вероятно, в это же время я прочел в газете, что где-то, кажется в Польше, в стене колодца обнаружили дверь, ведущую в склад оружия. Такие тайные склады, в которые можно попасть только через стенку колодца, я и рисовал в огромном количестве. В моих складах скрыто было оружие всех видов: винтовки, револьверы, пушки. И в каждом углу лежали горой красные флаги, необходимые, как я полагал, для каждого вооруженного восстания.

...Любители ставили пьесу [Ф.Герцля], которая называлась «Благо народа». Папа играл в ней главную роль. Пьеса эта, кажется, переведенная с немецкого, была, если я не

ошибаюсь, издана в тоненьких желтеньких книжечках «Универсальной библиотеки». Следовательно, она славилась в те времена. А может быть, это была классическая пьеса? Не могу вспомнить, что о ней говорили взрослые, и фамилию автора. Действие разыгрывалось в Лидии, у царя Креза, в то время, когда гостил у него Солон. Какой-то юноша изобретал хлеб, но не мог (кажется, так) дать его голодной толпе в нужном количестве, за что народ едва не убивал его. Крез и Солон, по соображениям, видимо, очень высоким, но в те времена недоступным мне, отравляли изобретателя. Чашу с ядом подносила юноше его невеста, дочь Креза, не зная, что отравляет жениха. Ставили пьесу долго, добросовестно, как в Художественном театре. Папа, придя домой из больницы, пообедав и поспав, надевал тунику, тогу красного цвета, сандалии, чтобы привыкнуть носить античную одежду естественно. Он репетировал свою роль перед зеркалом, стараясь двигаться пластически. И тут я впервые окунулся в неведомый нам, реалистам, классический мир. На некоторое время моя любовь к доисторическим временам и рыцарским замкам была отодвинута. Как мечтал я о спектакле, на который меня обещали взять! И вот, когда уже афиши были расклеены по городу, я заболел ангиной. Спектакль имел огромный успех. Весь город был в театре. И, к величайшему счастью моему, «Блага народа» решили сыграть еще раз. Не в пример первым афишам большим, на тумбах и заборах появились афиши-крошки в тетрадочный лист. Они сообщали, что спектакль будет повторен, так незаметно и скромно, что я стал беспокоиться, прочтут ли их. Поэтому или по случаю дурной погоды

народу и в самом деле собралось очень, очень немного [...], мы с мамой заняли места в полупустом зале.

В оркестровой яме у ног Пушкина, осыпаемого морскими брызгами, крупными, как виноград, заиграл оркестр под управлением Рабиновича. Как теперь я понимаю, главная доля вечерового расхода падала на музыкантов. Оркестр гремел, пока по занавесу кто-то не постучал кулаком изнутри, отчего он весь заколебался снизу доверху. Это служило оркестру знаком, что пора кончать. Закончив музыкальную фразу, Рабинович опустил черную деревянную трубу, на которой играл, и повелительным жестом оборвал музыку. Стало тихо. Кто-то поглядел со сцены в дырочку, проделанную среди волн, изображенных на занавесе. Это я заметил потому, что дырочка, до сих пор светившаяся, потемнела и за нею блеснул раз-другой чей-то глаз. Публика покашливала, и я сам удивился, как отчетливо я отличил мамин кашель. Она села далеко позади, вероятно, для того, чтобы не смущать знакомых актеров. В те времена в Пушкинском доме освещение было керосиновое, и поэтому свет в зрительном зале не гасили, актеры видели ясно знакомых. И вот, наконец, занавес дрогнул и взвился под потолок. Новая моя любовь — Древняя Греция поглотила меня с головой. И не только меня. Отчаянные майкопские парни, наполнявшие галерку, и случайно забредшие обыватели, разбросанные по партеру, смотрели на Креза, Солона, бедного изобретателя и прочих эллинов с величайшим вниманием и волнением. Так же, как и я, не разбирали они, кто как играет. Но зато,

когда жена зубного врача Круликовского, исполнявшая роль дочери Креза, протянула кубок с ядом моему папе, с галерки крикнул кто-то сдавленным, неуверенным голосом, словно во сне: «Не пей!». «Не пей», — поддержали его в партере. После окончания спектакля актеров долго вызывали, и я хлопал, стучал ногами и кричал чуть ли не громче всех.

В то майкопское лето я прочел впервые в жизни «Отверженных» Гюго. Книга сразу взяла меня за сердце. Читал я ее в соловьевском саду, влево от главной аллеи, расстелив плед под вишнями, читал не отрываясь, доходя до одури, до тумана в голове. Больше всех восхищали меня Жан Вальжан и Гаврош. Когда я перелистывал последний том книги, мне показалось почему-то, что Гаврош действует и в самом конце романа. Поэтому я спокойно читал, как он под выстрелами снимал патронташи с убитых солдат, распевая песенки с рефреном: «...по милости Вольтера» и «...по милости Руссо». К тому времени я знал эти имена. Откуда? Не помню, как не помню, откуда узнал некогда названия букв. Я восхищался храбрым мальчиком, восхищался песенкой, читал спокойно и весело — и вдруг Гаврош упал мертвым. Я пережил это как настоящее несчастье. «Дурак, дурак», — ругался я. К кому это относилось? Ко всем. Ко мне, за то, что я ошибся, считая, что Гаврош доживет до конца книги. К солдату, который застрелил его. К Гюго, который был так безжалостен, что не спас мальчика. С тех пор я перечитывал книгу множество раз, но всегда пропуская сцену убийства Гавроша.

К музыке девочки [Соловьевы] относились не просто, она их трогала глубоко. Играть на рояле — это было совсем не то, что готовить другие уроки. Они договорились с Марьей Гавриловной Петрожицкой, что они будут проходить с ней разные вещи, и это свято соблюдалось, сколько я помню, до самого конца, с детства до юности. Варю нельзя было попросить сыграть Четырнадцатую сонату Бетховена, а Наташу — Седьмую. «Гриллен» Шумана играла Леля. Так же делились и шопеновские вальсы. Впервые я полюбил «Жаворонка» Глинки в Лелином исполнении. Потом шопеновский вальс (как будто, «ор.59»). Потом «Венецианского гондольера» Мендельсона. Потом «Времена года» Чайковского. Патетическую сонату, кажется, тоже играла Варя — и я вдруг понял ее. От детства до юности почти каждый вечер слушал я Бетховена, Шумана, Шопена, реже — Моцарта. Глинку и Чайковского больше пели, чем играли. Потом равное с ними место занял Бах. И есть некоторые пьесы этих композиторов, которые разом переносят меня в Майкоп, особенно когда играют их дети.

Строгая, неразговорчивая, загадочная Милочка держалась просто и дружелюбно со мной, и тем не менее я боялся ее, точнее, благоговел перед ней. Я долго не осмеливался называть ее Милочкой, так устрашающе ласково звучало это имя. На вечерах я подходил к ней не сразу, но, правда, потом уж не отходил, пока не раздавались звуки последнего марша. Я научился так рассчитывать время, чтобы встречать Милочку, когда она шла в гимназию. Была она хорошей

ученицей, первой в классе, никогда не опаздывала — перестал опаздывать и я. Иногда Милочка здоровалась со мной приветливо, иной раз невнимательно, как бы думая о другом, то — дружески, а вдруг — как с малознакомым. Может быть, мне чудились все эти особенности выражений, но от них зависел иной раз весь мой день. В те годы я был склонен к печали. Радость от Милочкиной приветливости легко омрачалась — то мне казалось, что мне только почудилась в ее взгляде ласка, то в улыбке ее чудилась насмешка. Положение усложнялось еще и тем, что в училище я обычно шел теперь вместе с Матюшкой. Часто, хотя он с Милочкой был знаком мало, я относил ее приветливость тому, что со мной Матюшка. Любопытно, что Милочка как-то сказала мне, уже значительно позже: «Ты часто так сердито со мной здоровался, что я огорчалась». И я ужасно этому удивился. Что-то новое вошло в мою жизнь. Вошло властно. Все мои прежние влюбленности рядом с этой казались ничтожными. Я догадался, что в сущности любил Милочку всегда, начиная с первой встречи, когда мы собирали цветы за городским садом, — вот почему и произошло чудо, когда я встретился с ней глазами. Пришла моя первая любовь. С четвертого класса я стал больше походить на человека. В толстой клеенчатой тетради я пробовал писать стихи [...] Но в стихах моих не было ни слова о Милочке. Никому я не говорил о ней.

БЕЛЫЙ ВОЛК

Когда в 1922 году наш театр закрылся, я после ряда приключений попал секретарем к Корнею Ивановичу Чуковскому.

Он был окружен как бы вихрями, делающими жизнь возле него почти невозможной. Находиться в его пределах в естественном положении было немыслимо, как в урагане посреди пустыни. И к довершению беды вихри, сопутствовавшие ему, были ядовиты.

Цепляясь за землю, стараясь не закрывать глаза, не показывать, что песок пустыни скрипит на зубах, я скрывал ото всех и от себя странность своей новой должности. Я всячески старался привиться там, где ничто не могло расти.

У Корнея Ивановича никогда не было друзей и близких. Он бушевал в одиночестве, не находя пути по душе, без настоящего голоса, без любви, без веры, с силой, не открывшей настоящего, равного себе выражения, и потому недоброй.

По трудоспособности я не встречал ему равных. Но какой это был мучительный труд! На столе его лежало не менее трех-четырех работ: вот статья для «Всемирной литературы», вот перевод пьесы Синг, вот предисловие и примечания к воспоминаниям Панаевой, вот детские стихи. Легкий, как бы пляшущий тон его статей давался ему нелегко. Его рукописи походили не то на чертежи, не то на карты. Вклейки снизу, сбоку, сверху. Каждую страницу приходилось разворачивать, раскрывать, расшифровывать.

Отделившись от семьи большой проходной комнатой, он страдал над своими работами, бросался от одной к другой как бы с отчаянием. Он почти не спал. Иногда выбегал он из дома своего на углу Манежного переулка и огромными шагами обегал квартал по Кирочной, Надеждинской, Спасской, широко размахивая руками и глядя так, словно он тонет, своими особенными серыми глазами. Весь он был особенный: седая шапка волос, молодое лицо, рот небольшой, но толстогубый, нос топорной работы, но общее впечатление — нежности, даже миловидности.

Когда он мчался по улице, все на него оглядывались, — но без осуждения. Он скорее нравился прохожим высоким ростом, свободой движения. В его беспокойном беге не было ни слабости, ни страха. Он людей ненавидел, но не боялся, и у встречных поэтому и не возникало желания укусить его.

Я появлялся у него в просторном и высоком кабинете в восемь часов утра. В своем тогдашнем безоговорочном, безоглядном поклонении далекой и недоступной литературе я в несколько дней научился понимать признанного ее жреца, моего хозяина. Показывая руками, что он приветствует меня, прижимая их к сердцу, касаясь пальцами ковра в поясном поклоне, надув свои грубые губы, Корней Иванович глядел на меня, прищурив один глаз, с искренней ненавистью. Но я не обижался. Я знал, что чувство это вспыхивает в душе его само по себе, без всякого повода, не только ко мне, но и к близким его. И к первенцу Коле, и к Лиде, и, реже, к Бобе, и только к младшей, к Муре — никогда. Если даже дети меша-

ли его отшельничеству без божества и подвигам благочестия без веры, — то что же я-то? Я не огорчался и не обижался, как не обижаются на самум, и только выжидал, чем кончится припадок.

Иной раз он бывал настолько силен, что Корней Иванович придумывал мне поручения, чтобы поскорей избавиться от моего присутствия. Иногда же припадок проходил в несколько минут, и мне находилось занятие в пределах кабинета.

В последнем случае я усаживался за маленький столик с корректурами. Корней Иванович посвятил меня в нехитрое искусство вносить в гранки поправки, ставя знаки на полях и в тексте. И я с гордостью правил корректуру, но делал это плохо. Я через две-три строчки зачитывался тем, что надлежало проверять. И тут иной раз у нас завязывались разговоры о ней, о литературе. Но не надолго. Среди разговора Корней Иванович, словно вспомнив нечто, мрачно уходил в себя, прищурив один глаз. Впрочем, и до этого знака невнимания, говоря со мной, он жил своей жизнью. Какой? Не знаю. Но явно страдальческой.

У него были основания задумываться и страдать не только по причинам внутреннего неустройства, но и по внешним обстоятельствам. За несколько месяцев до моего секретарства разыгралась громкая история с письмом, что он послал за границу Алексею Толстому. Он приветствовал Алексея Николаевича, сменившего вехи, звал Толстого в Советский Союз и подробно и недоброжелательно описывал людей, с которыми ему, Чуковскому, приходится жить и работать. Я забыл, что

именно он писал. Помню только фразу о Замятине: «Евгений Иванович, милый, милый, но такой чистоплюй!» И каждому посвящал он две-три фразы подобного же типа, так что на обсуждении кто-то сравнил его послание с письмом Хлестакова к «душе Тряпичкину»! Вся беда в том, что письмо Корнея Ивановича приобрело неожиданно широкую известность. Толстой взял да и напечатал его в «Накануне».

Дом Искусств и Дом Литераторов задымились от горькой обиды и негодования. Начались собрания Совета дома, бесконечные общие собрания. Проходили они бурно, однако в отсутствие Корнея Ивановича. Он захворал. Он был близок к сумасшествию. Но все обошлось. В те дни, когда мы встретились, рассудок его находился в относительном здравии. Ведь буря, которую пережил Чуковский, была далеко не первой. Он вечно, и почему-то каждый раз нечаянно, совсем, совсем против своей воли, смертельно обижал кого-нибудь из товарищей по работе. Андреев жаловался на него в письмах, Арцыбашев вызывал на дуэль, Аверченко обругал за предательский характер в «Сатириконе», перечислив все обиды, нанесенные Чуковским ему и журналу, каждый раз будто бы по роковому недоразумению. И всегда Корней Иванович, поболев, оправлялся.

Однако проходили эти бои, видимо, не без потерь. И мне казалось, что уходя в себя, Корней Иванович разглядывает озабоченно ушибленные в драке части души своей. Нет, он не был душевнобольным, только душа у него болела всегда.

Но вот дела требовали, чтобы Корней Иванович оторвался от своего письменного стола. И он, полный энергии, выбегал, именно выбегал из дому и мчался к трамвайной остановке. Он учил меня всегда поступать именно таким образом: если трамвай уйдет из-под носа, то не по причине вашей медлительности.

И, приехав, примчавшись туда, куда спешил, Корней Иванович уверенно, весело и шумно проникал к главному в этом учреждении.

— Вы думаете, он начальник, а он человек! — восклицал он своим особенным насмешливым, показным манером, указывая при слове «начальник» в небо, а при слове «человек» — в пол. — Всегда идите прямо к тому, кто может что-то сделать!

И всегда Корней Иванович добивался того, чего хотел, и дела его шли средне.

Да, дела его шли средне, хотя могли бы идти отлично. Такова обычная судьба людей мнительных, подозрительных и полных сил.

Не мог Корней Иванович понять, что у него куда меньше врагов, чем это ему чудится, и соответственно меньше засад, волчьих ям, отравленных кинжалов. И, защищаясь от несуществующих опасностей, он вечно оказывался, к ужасу своему, нападающей стороной. Это вносило в жизнь его ужасную разладицу и в тысячный раз ранило его нежную душу. Впрочем, в иных нередких случаях мне казалось, что он заводит драку вовсе не потому, что ждет нападения. Просто его охватывало

необъяснимое, бескорыстное, судорожное желание укусить. И он не отказывал себе в этом наслаждении.

Кого он уважал настолько, чтобы не обидеть даже при благоприятных тому обстоятельствах?

Может быть, Блока (вскоре после его смерти). Отчасти Маяковского. Любил хвалить Репина. Вот и все.

Однажды он, улыбаясь, стал читать Сашу Черного, стихи, посвященные ему — «Корней Белинский». Я их помню очень смутно. Кончаются они тем, что, мол, Чуковский силен только когда громит бездарность, и халат тогой падает в таких случаях с его плечей. Начал читать Корней Иванович, весело улыбаясь, а кончил мрачно, упавшим голосом, прищурив один глаз. И, подумав, сказал:

— Все это верно!

Маршак не раз говорил о нем:

— Что это за критик, не открывший ни одного писателя!

И вместе с тем какая-то сила угадывалась, все время угадывалась в нем. И Маршак же сказал о Чуковском однажды:

— Он не комнатный человек.

Стихи Корней Иванович запоминал и читал, как настоящий поэт. Но прозу он вряд ли понимал и любил так, как Некрасова, например. Одна черта, необходимая критику, у него была: он ненавидел то, что других только раздражало. Но настоящий критик еще и влюбляется там, где другие только любуются. А Чуковский только увлекался.

И критик обязан владеть языком. Иметь язык. Быть хорошим прозаиком. А настоящего дара к прозе у Корнея Ивановича и не было.

Во многих детских своих стихах он приближался к тому, чтобы заговорить настоящим языком, и, бывало, это ему удавалось в полной мере (последние строки «Мойдодыра»). Но в прозе его чувствовался и потолок и донышко. Да, в ней была сила, но та самая, что так легко сгибала и выпрямляла его длинную фигуру, играла его высоким голосом — актерская сила. С фейерверком, конфетти и серпантином.

Отсутствие языка сказывалось и на его памяти. Не назвал — значит, и не запомнил. Именно поэтому, рассказывая, он часто, за невозможностью вспомнить, — сочинял.

Однажды он рассказал, как Скиталец пьяный приехал на какой-то вечер и хотел прочесть свое стихотворение «Мне вместо головы дала природа молот», а прочел: «Мне вместо головы дала природа ноги».

Я посмеялся, а потом вспомнил, что эти строки насчет головы и молота вовсе не Скитальца, а пародия Измайлова на Скитальца. Значит, когда Корней Иванович рассказывал, то даже отличная память на стихи изменяла ему. Настоящая его сила, та, что заставляла его умолкать посреди разговора, уходить в себя, работать до отчаяния, бегать огромными шагами вокруг квартала, — была нема и слепа, и только изредка пробивалась в детских стихах. А в остальные дни не радовала она Чуковского, а грызла, отчего он и кусался.

Сегодня припадок ненависти ко всем, забредающим в полосу отчуждения, в том числе, разумеется, и ко мне, так силен, что Корней Иванович придумывает наскоро ряд поручений, только бы я скрылся с глаз долой.

И я отправляюсь в путь.

Первое поручение — достучаться во что бы то ни стало к художнику Замирайло и узнать, когда будут готовы рисунки к какой-то детской книге. Корней Иванович предупредил, что это вряд ли мне удастся.

И в самом деле. Словно сказочные слуги, получавшие от своих владык подобные же невыполнимые приказания, я попадаю в дебри, сырые и темные. В коридоре дома, полного еще воспоминаниями о голодных годах, я стучу и стучу, упорно и безостановочно, в обитую клеенкой дверь, как было мне приказано. Полутемно. В двух шагах на полу — перевернутая кверху дном ванна, неведомо зачем вытащенная из подобающего вместилища. На помойном ведре пристроилась кошка и ест с отвращением, стряхивая так, что брызги летят во все стороны, соленый огурец. Я стараюсь стучать погромче, но войлок под клеенкой заглушает звук. Стучу ногами. Из двери напротив выглядывает женщина в платке. Сообщает, что, по ее мнению, художник дома, но не откроет. Он никому не открывает.

— Мохнатое сердце! — думаю я с горечью. — Ведь это я стучу, я. Как можно прятаться от меня? Разве я тебя обижу?

Мохнатое сердце — так назвал себя Замирайло, оправдываясь перед товарищем, которого напрасно обидел, — не чует, не отзывается.

Так я и ухожу, не достучавшись.

Года через два я увидел в редакции человека невысокого, с лицом апатичным, бледным, несколько одутловатым. Это он и был, таинственный Замирайло. В редакции он держался, как все, отвечал на вопросы вполне учтиво. А когда ушел, то молодые художники отозвались о нем непочтительно, сказали, что он эпигон Дорэ.

А после бесславной попытки проникнуть к Замирайло, я направляюсь к Лернеру, пушкинисту и литературоведу. Я должен узнать у него, кто такая — известная своим богатством, благочестием и влиянием в кругах высшего духовенства особа, упоминаемая у Панаевой. Фамилия ее в мемуарах не названа.

К Лернеру я попадаю через кухню. Все парадные двери в Петрограде еще заколочены. Возможно, что здесь я увидел кошку на мусорном ведре, а к Замирайло стучался со двора. В одном не сомневаюсь: голодный и холодный город ощущался и там и тут, и на подступах к талантливому художнику, и на кухне у литературоведа, и в квартире Чуковских, куда тоже попадали через кухню с давным-давно, годы назад остывшей плитой. На Невском зиял пустынными окнами недостроенный дом, — недалеко от улицы Марата, там, где теперь кинотеатр «Художественный». Недостроенный дом вздымался и на углу Герцена и Кирпичного, и никто еще не собирался достраивать эти дома. Город только-только начинал оживать.

В своем кабинетике с буржуйкой Лернер, выслушав меня, быстро и пренебрежительно, как математик, которому

задали арифметическую задачу для первоклассников, отвечает, что у Панаевой, конечно, речь идет о графине Орловой, старой деве, замаливающей грехи отца.

Насмешливый, беловолосый, немолодой, расспрашивает он о том, как работает Чуковский над примечаниями. По всей повадке его я угадываю, что считает он Корнея Ивановича ненастоящим работником, легкомысленным журналистом, взявшим ношу не по плечам.

Он втолковывает мне, что, давая примечания, нужно чувствовать, когда именно у читателя возникает вопрос, а не отвлекать его от книжки ненужными комментариями, не показывать без толку свою ученость.

Куда бы я ни шел, с кем бы ни говорил, — меня преследует предчувствие неприятности, даже позора. Мне приказано явиться в Губфинотдел и похлопотать перед фининспектором, чтобы с Корнея Ивановича сняли неправильно начисленный налог.

У меня в кармане необходимые справки, мной получены подробнейшие инструкции, но мне все равно не по себе. Я начисто лишен был счастливого дара — весело и спокойно разговаривать с начальниками, в каком бы чине они ни состояли. Я трусил, когда приходилось просить. Терял всякий дар слова. Внушал своим растерянным видом мрачные подозрения. И наконец — радовался в глубине души отказу, — так или иначе, он кончал тяжелый для меня разговор. И я отступал, еще по-настоящему и не начав боя, там, где более или менее настойчивый человек одержал бы победу.

У меня мелькает малодушная мысль соврать Корнею Ивановичу, что фининспектора не оказалось на месте. Что его вызвали в Смольный. Но я не поддаюсь искушению. Меня поддерживает надежда, что фининспектор и в самом деле взял и ушел, провалился сквозь землю.

Я в те дни был крайне растерян и недоверчив, и невнимателен к красотам города, о которых столько твердили наименее живые из моих знакомых. Однако один дом я все же успел заметить и даже полюбить за то, что несмотря на душевное смятение мое, он каждый раз вызывал прочное, надежное чувство восхищения. Это радовало меня. Все-таки я, значит, мог чувствовать ясно. Дом мой любимый возвышался за узорной решеткой на канале Грибоедова, против мостика со львами. Вот туда-то и шагал я на мучения и позор. Там помещался Губфинотдел.

Фининспектор оказался на месте, в своем кабинете, Корней Иванович отлично знал часы его приема. Молодой человек с припудренными изъянами на бледном лице сидел за столом и отказывал в просьбе какому-то упрямому и несдающемуся человеку. Налогоплательщик говорил тихо, но много, безостановочно, а фининспектор ответил ему только раз, во весь голос, презрительно и гладко:

— Если вам известны подобные случаи, вы должны в интересах фиска информировать нас.

Когда налогоплательщик вышел, не глядя ни на кого, полный негодования и энергии, ничуть не обескураженный, пришла моя очередь.

По непонятным причинам, видимо потому, что я хлопотал

не о себе, я говорю не слишком путанно и предъявляю документы, едва бледный молодой фининспектор заговаривает о них. Он долго хмурится, щурится, качает головой, задумывается и, наконец, пишет резолюцию, и я вижу с восторгом, что сумма налога уменьшилась на шестьдесят миллионов.

В Публичную библиотеку я вступаю как победитель. Теперь я не боюсь никого. Заведующий русским отделом, сердитый старик, прочтя записку Корнея Ивановича, протягивает мне толстую книгу «Русский Некрополь». Тут я найду инициалы, год рождения и смерти некоторых лиц, упоминаемых в примечании.

Мне остается выполнить еще одно приказание своего хозяина. Всем тогда случалось торговать. Так же, как в старые времена шли в ломбард, — отправлялись теперь на рынок. И когда Корней Иванович поручил мне продать авторские экземпляры только что вышедших своих книг, я отнесся к этому весьма просто и спокойно.

Здесь-то и подстерегали меня позор и неудача. В первой же книжной лавке меня приняли за подозрительную личность, укравшую книги в типографии. Напрасно я доказывал, что получил их от самого автора. Холодно и решительно маленький владелец магазина отказался вступать со мной в какие бы то ни было переговоры. Я ушел, в ярости хлопнув дверью, но в другие магазины пойти не посмел.

Ошеломленный и отуманенный всем многообразием пережитых приключений, возвращаюсь я на Манежный переулок, к своему повелителю.

Высокие потолки, высокие окна без занавесок, свет бьет в лицо, Корней Иванович смотрит на меня своими непонятными глазами, и странное чувство нереальности всего происходящего охватывает меня. Зачем ходил я к Лернеру, в Публичную библиотеку, стучался к Замирайло? Нужны ли Чуковскому все эти лежащие на письменном столе груды, и к чему ему секретарь? Да и сам Корней Иванович — существует ли он? Тот ли это Чуковский, которого я так почитал издали, в студенческие годы, за то, что находился он в самом центре литературы и представлял ее и выражал? «Журнал журналов» хвалил его, а что такое Корней Иванович на новой почве, в теперешней жизни?

Я недоедал в то время, и мысли о нереальности происходящего особенно остро переживались мною в середине дня, после путешествий и приключений.

Я встречаю на Невском Давыдова. Он медленно идет под руку со своим племянником, красивым юношей в дохе. Давыдов! Тот ли это артист, о котором я читал в чеховских письмах, или в наши дни это явление совсем другого порядка?

Из бывшей «Квисисаны» выходит в компании художников Радаков. Он весел, но более по привычке, держится самоуверенно, но как бы в целях самозащиты. Прошли века с тех пор, как закрылся «Новый сатирикон». Существует ли Радаков, хотя его грузная фигура занимает весьма заметное место на Невском проспекте?

Доклад о выполненных и невыполненных поручениях Корней Иванович выслушивает спокойно, серые глаза его сохра-

няют загадочное выражение. Но, увидев резолюцию фининспектора, он вскакивает и кланяется мне в пояс, и восклицает своим особенным тенором, что я не секретарь, а благодетель.

Существую ли я? В те дни я и в самом деле как бы не существовал. Театр, в котором я работал, закрылся. К литературе подступал я осторожно, с поклонами, заискивающими улыбочками, на цыпочках. Я дружил в те времена с Колей Чуковским и все выспрашивал: как он думает, — выйдет ли из меня писатель?

Коля отвечал уклончиво. Однажды он сказал так: «Кто тебя знает! Писателя все время тянет писать. Посмотри на отца: он все время пишет, записывает все. А ты?»

Я не осмеливался делать это. Но Корней Иванович, и в самом деле, записывал все. У него была толстая переплетенная тетрадь по имени «Чукоккала», которой Корней Иванович очень дорожил. И не без основания. Там, на ее листах, формата обыкновенной тетрадки, красовались автографы Блока, Сологуба, Сергея Городецкого, Куприна, Горького, рисунки Репина. Все современники Чуковского так или иначе участвовали в «Чукоккале». По закону собраний такого рода, чем менее известен был автор, тем более интересны были его записи. Во всяком случае — ощущалось старание. Но, так или иначе, тетради этой не было цены. Однажды Корней Иванович доверил ее мне. Лева Лунц уезжал. Были устроены проводы, и Корней Иванович поручил мне собрать в «Чукоккалу» автографы присутствующих.

Проводы оказались настолько веселыми, что я не рискнул выполнить поручение. На другой день после проводов я у Чуковского не был. Он сказал, что я не буду нужен. А вечером того же дня пришел ко мне Коля и сказал, что папа очень беспокоится за судьбу альбома.

Я принес «Чукоккалу» утром, к восьми часам, но Корнея Ивановича уже не застал. Он умчался по своим делам, а может быть, размахивая руками, как утопающий, шагал огромными шагами вокруг квартала. Я сел за стол и принялся ждать.

И тут я убедился, что и в самом деле Корней Иванович записывает все. На промокательной бумаге стола, на нескольких листках блокнота, на обложке тетради стояли слова: «Шварц — где Чукоккала!!!» Первое движение, первое выражение чувства для него была потребность записать. «Где Чукоккала?» «Пропала Чукоккала» — вопияли на столе со всех сторон взятые в квадратные и овальные рамки слова. «Где Чукоккала? О, моя Чукоккала!»

Корней Иванович в эти дни неустанно горевал о дневниках своих. Он вел их всю жизнь, и вот остались они на даче в Финляндии. Полагаю, что дневники его и в самом деле станут кладом для историка литературы. Придется ему долго разбираться в той смеси, сети, клубке правдивости, точнее — искренности — и лжи, но лжи от всего сердца. Я при тогдашней своей любви ко всему, что связано с литературой, наслаждался всеми рассказами Корнея Ивановича, даже в недостоверности их угадывая долю правды,

внося поправки в его обвинения, смягчая приговоры, по большей части смертные. Однажды Коля пожаловался: «Папа наговорил о таком-то, что он и негодяй, и тупица, и готовый на все разбойник. А я познакомился с ним и вижу — человек как человек». И я учитывал эту особенность рассказчика. Однако в самые черные дни его даже я несколько огорчался, наслушавшись обвинительных актов против товарищей Корнея Ивановича по работе. Если верить ему, то они прежде всего делились, страшно повторить — на сифилитиков и импотентов. Благополучных судеб в этой области мужской жизни Корней Иванович, казалось, не наблюдал. Соответственно определял он их судьбы и в остальных разделах человеческих отношений. Вот несколько наиболее добродушных его рассказов. Корней Иванович, стоя у книжной полки, открывает книжку, и вдруг я слышу теноровый его хохот. Широким движением длинной своей руки подзывает он меня и показывает. К какой-то книге Мережковского приложен портрет: писатель сидит в кресле у себя в кабинете. Вправо от него на стене бо́льшое распятие, и непосредственно под крестом, касаясь его подножия, чернеет кнопка электрического звонка.

— Весь Митя в этом! — восклицает Корней Иванович с нарочито громким и насмешливым смехом. Но вот смех обрывается, и Корней Иванович темнеет, прищуря один глаз. И я слышу жалобы, правдивость которых не вызывает у меня ни малейшего подозрения. Мережковские приготовились бежать из Советского Союза и тщательно скрывали это от друзей. В течение двух недель ходили они по издательствам,

заключали договоры и получали гонорары. В советских условиях они были робки, все обращались за помощью к Корнею Ивановичу, и он выколачивал для них наличные деньги у самых упрямых хозяйственников.

И ни слова не сказали они Корнею Ивановичу о планах побега. А ведь считались друзьями, да что там считались — были, были настоящими друзьями. И Чуковский показывает искреннее и трогательное стихотворение Гиппиус об одиночестве, в котором очутилась она. Только и есть одно у нее утешение — приход «седого мальчика с душою нежной».

— Вот как она писала. А потом удрала за границу, ни слова не сказав о своих планах друзьям. Ни намека! И там стала обливать нас, оставшихся, грязью. Ругалась как торговка. Вся Зинаида Гиппиус в этом. Вся!

Однажды Брюсов сказал Корнею Ивановичу, что сегодня ему исполнилось сорок лет. А тот ему ответил: «Пушкин в эти годы уже и умереть успел!»

У Корнея Ивановича, как у великих фехтовальщиков, была выработана своя система удара. Фраза начиналась с похвалы и кончалась выпадом. Он сказал однажды Короленко:

— Владимир Галактионович, как хорош у вас слесарь в рассказе «На богомолье», сразу видно, что он так и списан с натуры.

И Короленко ответил спокойно:

— Еще бы не с натуры: ведь это Ангел Иванович Богданович!

Ответ этот привел Корнея Ивановича в восхищение. Это был один из немногих случаев, когда Корней Иванович отдавал писателю должное. При оказиях подобного рода он отводил душу, ругая певучим тенором своим других прозаиков. Пусть попробует так поступить такой-то с его лимфатическим благородством или такой-то с его куриной грудкой. Взять редактора толстого марксистского журнала, Ангела Ивановича, которого наборщики прозвали Черт Иванович, и перенести его совсем в другую среду, где характер его вырисовывается выразительнее и отчетливее. Пусть попробует так сделать такой-то с его жидким семенем! Он и с натуры писать не может своими хилыми пальчиками.

Расстались мы с Чуковским летом 23-го года, когда я уехал погостить к отцу в Донбасс.

Разногласий у нас не было. Если выговаривал он мне, то я сносил. А он со своей повышенной чувствительностью, чуял, конечно, как бережно, с каким почтением я к нему отношусь. Словно к стеклянному. Он нередко повторял, что я не секретарь, а благодетель, но оба мы понимали, прощаясь, что работе нашей совместной пришел конец. Есть какой-то срок для службы подобного рода. И я удалился из полосы отчуждения. Только перед самым уже отъездом заспорили мы по поводу статьи его о Блоке. Мне показалось, что поэт, сказавший об имении своем, сожженном крестьянами, «туда ему и дорога», — заслуживает более сложного разбора. Спор этот Корней Иванович запом-

нил. Когда я уже уехал, он сказал Коле, что гонорар за статью о Блоке переведет мне. Однако не перевел.

По возвращении моем мы встречались довольно часто, и Корней Иванович бывал добр ко мне, со всеми оговорками, вытекающими из особенностей его натуры. Кончая редактировать одно из изданий книжки «От двух до пяти», Чуковский сказал мне, что прочтя кое-какие изменения и добавления к ней, я буду приятно поражен. Дня через два мне случайно попались гранки книжки. И я прочел: «В детскую литературу бросились все, от Саши Черного до Евгения Шварца».

По правде сказать, я, вместо приятного удивления, испытал некоторое недоумение. Впоследствии он заменил эту фразу абзацем, который и остается до сих пор, кажется, во всех переизданиях. Там он спорит со мной, но называет даровитым, что меня и в самом деле поразило.

Все анекдоты о вражде его с Маршаком неточны. Настоящей вражды не было. Чуковский ненавидел Маршака не более, чем всех своих близких. Просто, вражда эта была всем понятна, и поэтому о ней рассказывали особенно охотно.

Во время съезда писателей, узнав, что Маршак присутствовал на приеме, куда Чуковский зван не был, этот последний нанес счастливцу удар по своей любимой системе.

— Да, да, да! — пропел Чуковский ласково. — Я слышал,

Самуил Яковлевич, что вы были на вчерашнем приеме, и так радовался за вас, вы так этого добивались!

Встретив в трамвае Хармса, Корней Иванович спросил его громко, на весь вагон:

— Вы читали «Мистера Твистера»?

— Нет! — ответил Хармс осторожно.

— Прочтите, — возопил Корней Иванович. — Прочтите! Это такое мастерство, при котором и таланта не надо! А есть куски, где ни мастерства, ни таланта: «Сверху над вами индус, снизу под вами зулус» — и все-таки замечательно.

Так говорил он о Маршаке. Зло? Да. Может так показаться. Пока не вспомнишь, как относился этот мученик к самым близким своим. К своему первенцу, например. Во время войны я привез Корнею Ивановичу письмо от Марины, жены его старшего сына. Она рассказывала в нем чистую правду. Ей удалось узнать случайно, что Коля сидит без работы в части, где газеты нет и не будет, под огнем, рискуя жизнью без всякой пользы и смысла. Она просила, чтобы Корней Иванович срочно, через союз, хлопотал о переводе Коли не в тыл, нет, а в другую фронтовую часть.

Мы встретились с Корнеем Ивановичем в столовой Дома писателей, во втором ее этаже, где кормили ведущих и приезжих. Я спросил Корнея Ивановича о письме. К ужасу моему, лицо его исказилось на знакомый лад. Судорожное, самоубийственное желание укусить ясно выразилось в серых глазах, толстых губах. И этот мученик неведомого бога,

терзаемый недоброй своей силой, запел, завопиял, обращаясь к старику Гладкову, сидевшему напротив:

— Вот они, герои! Мой Николай напел супруге, что находится на волоске от смерти, и она молит: спасите, помогите! А он там в тылу наслаждается жизнью!

— Ай-ай-ай! — пробормотал старик растерянно. — Зачем же это он?

Вот как ответил Корней Иванович на письмо о находившемся в опасности старшем своем сыне. Младший его, — следует помнить об этом, — к тому времени уже погиб на фронте. Нет, я считаю, что Маршака Корней Иванович скорее ласкал, чем кусал.

В апреле 52-го года, слушая доклад Суркова на совещании о детской литературе, я оглянулся и увидел стоящего позади седого, стройного Корнея Ивановича. Ему только что исполнилось семьдесят лет, но лицо его казалось все тем же свежим, топорным и нежным, особенным. Конечно, он постарел, но и я тоже, и дистанция между нами сохранилась прежняя. Все теми же нарочито широкими движениями своих длинных рук приветствовал он знакомых, сидящих в разных углах зала, пожимая правой рукой левую, прижимая обе к сердцу. Я пробрался к нему. Сурков в это время, почувствовав, что зал гудит сдержанно, не слушает, чтобы освежить внимание, оторвался от печатного текста доклада и, обернувшись к сидящим в президиуме Маршаку и Михалкову, воскликнул:



Е.Л.Шварц (второй слева) с родителями и братом.
Майкоп. 1900-е годы.



В редакции детских книг Лениздата.
Слева направо: Н.М.Олейников, В.В.Лебедев, З.И.Лилина,
С.Я.Маршак, Е.Л.Шварц, Б.С.Житков.
1926 год.



Евгений Шварц. Портрет работы Н.П.Акимова. 1938 год.



К.И.Чуковский. Портрет работы Ю.Анненкова. 1921 год.



Дом у Преображенского собора в Петрограде,
где жил К.И.Чуковский в 1920-е годы.



В.В.Лебедев. 1925 год.



С.Я.Маршак и В.В.Лебедев. 1930-е годы.



В.В.Лебедев.
Иллюстрация к стихотворению С.Я.Маршака «Цирк». 1929 год.

— А вас, товарищи, я обвиняю в том, что вы перестали писать сатиры о детях!

И немедленно, сделав томные глаза, Чуковский пробормотал в ответ:

— Да-да-да! Это национальное бедствие!

На несколько мгновений словно окно открылось, и на меня пахнуло веселым воздухом двадцатых годов. Но не прошло и пяти минут, как Корней Иванович перестал слушать, перестал замечать знакомых, и я почувствовал себя в старой, неизменной полосе отчуждения. Прищурив один глаз, ступил он в сторону за занавеску к выходу и пропал, как будто его и не было. Удалился в свою пустыню обреченный на одиночество старый белый волк.

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

Году в двадцать седьмом, когда работа в Детском отделении Госиздата вошла в колею, мы часто ездили в типографию «Печатный двор», на верстку журнала или очередной книжки. В те дни я был особенно озабочен, обижен близкими друзьями, домашней своей жизнью, но эти поездки вспоминаются как бы светящимися, словно картонажики со свечкой внутри. Они сияют своим воображаемым игрушечным счастьем. В дни таких поездок я наслаждался игрушечной, непрочной и несомненной свободой.

По роковой, словно наговоренной бездеятельности моей я с неохотой пускался даже в этот легкий путь. Откладывал поездку на самый последний срок. И у Геслеровского переулка, среди плохо знакомых улиц Петроградской стороны, меня вдруг поражало чувство освобождения от домашней и редакционной упряжи, не бог весть какой тяжелой, но все же натирающей плечи. И я не мог понять — зачем я скрывался, прятался от праздника.

Я шагаю по переулку, напоминающему — не хочу угадывать что. Так свободнее. Как будто Екатеринодар в самом раннем моем детстве. Не вглядываюсь. Вот и кирпичный забор и кирпичные стены «Печатного двора». И любимое с донбассовских времен, со «Всесоюзной кочегарки» обаяние

типографии, работы ощутимой, видимой, охватывает меня. Сдав материал в верстку, поговорив с метранпажем и наборщиками, я отправляюсь бродить по всему зданию «Печатного двора», подчиняясь все тому же чувству свободы.

Только что привезенный из Германии офсет, его начинают осваивать, он на ходу. Смотрю и смотрю, и не могу поймать повторяемости, машинности движений его многочисленных рычагов. И вдруг в блеске никелированных частей, в мостиках и лестницах, я сильно, но коротко, всего на миг, вспоминаю нечто праздничное, давно пережитое. Что? Так я смотрел в ясный день, чувствуя, как дрожит палуба, в застекленный сверкающий люк машинного отделения на пароходе и...

И страх охватывает меня. Мне страшно спугнуть полное радости воспоминание, страшно утратить чувство свободы. Я не смею восстановить, разглядеть, что пережил когда-то, откладываю. Потом, потом! И убегаю.

При входе в литографию оглушительно гремит машина, моет литографские камни. Тяжелое квадратное корыто трясется и трясется, катает по камням стеклянные шарики. Я вхожу в светлые и просторные комнаты литографии. Здесь в свои наезды встречаю я непременно кого-нибудь из гвардии Владимира Васильевича Лебедева. Он заведовал в те дни художественным отделом Детгиза. И держал мо-

лодых художников строго. Они обязаны были сами делать рисунки на литографских камнях, следить за печатанием своих книг.

В те дни Владимир Васильевич Лебедев считался лучшим советским графиком. Один художник сказал: «Лебедев настолько опередил остальных, оторвался, что трудно сказать, кто же следующий».

Он работал непременно ежедневно, не пропуская. С утра приходила к нему натурщица. Потом он трудился над иллюстрациями книг. Потом шел в редакцию, где пристально, внимательно, строго разбирал иллюстрации учеников.

И боксом занимался он столь же пристально, рассудительно. Он даже был до революции чемпионом в каком-то весе. И в двадцатые годы на состязаниях занимал он места у самого ринга, вместе с судьями. А дома возле кровати висел у него мешок с песком для тренировки. И он тренировался так же истово, как иные молятся.

Но несмотря на ладную свою фигуру, он не казался человеком тренированным, спортсменом в форме. Вероятно больше всего мешала лысина во всю голову и несколько обрюзгшее лицо с дрябловатой кожей. Брови густые, щеткой, густые волосы вокруг лысины увеличивали ощущение беспорядка. Неприбранности. Неспортивности.

И одевался он старательно, сознательно, уверенно, но беспокоил взгляд, а не радовал, как человек хорошо одетый. И тут чувствовалось что-то не вполне ладное, как в лице его. Матерчатый клетчатый картуз с козырьком вро-

де французского солдатского кепи, клетчатое полупальто, какие-то невиданные полувоенные длинные до колен ботинки со шнуровкой — нет, глаз на нем не отдыхал, а уставал.

Талант Лебедева не вызывал сомнений, — ведь дух божий веет, где хочет, даже в душах демонических, дьявольских. Но в данном случае об этом не могло быть и речи. Душа Лебедева была свободна и от бога и от дьявола. Дух божий веял в душе сноба, который всякую веру нашел бы постыдной. Кроме одной.

Как Шкловский, как Маяковский, он веровал, что время всегда право. А это является иной раз, кроме всего прочего, еще и признаком денди, сноба. Он одевался по времени.

Лебедев веровал в сегодняшний день, любил то, что в этом дне сильно, и презирал, как нечто непринятое в хорошем обществе, всякую слабость и неудачу. То, что сильно, и людей, олицетворяющих эту силу, любил он искренне, любовался ими, как хорошим боксером на ринге. И узнавал их и распределял по рангам с такой безошибочностью, как будто они обладали соответственными дипломами или титулами. Больше подобных людей любил он только одно — вещи.

У него была страсть ко всяким вещам. Особенно к кожаным. Целый строй ботинок, туфель, сапог стоял у него под кроватью. Собирал он и кожаные пояса. Портупеи. Обширная его мастерская совсем не походила на комнату коллекционера. Как можно! Но в отличных шкафах скрыва-

лись отличные вещи. И в Кирове во время войны Лебедев потряс меня заявлением, что ему жалко вещей, гибнущих в блокадном Ленинграде, больше, чем людей. Вещи — лучшее, что может сделать человек. И он завел альбом, в котором рисовал оставшиеся в ленинградской квартире сокровища. Какой-то замечательный половник. Кастрюли. Башмаки. Шкаф в прихожей. Шкаф кухонный. Все эти вещи уцелели его молитвами, бомба не попала в его квартиру.

Как ясна и чиста от угрызений совести, похмелья, греха должна была быть подобная душа! Как спокойно, с каким цельным, полным наслаждением должен был бы обладать Лебедев натурой, сапогами, чемоданами, половниками, старинными лубками, женщинами, шкафами! А между тем близкие люди жаловались на его женственный, капризный характер. Это случается с мужественными, сильными людьми его вида. Они любят желания свои не меньше, чем собственные вещи. И избаловывают сами себя. Слишком прислушиваются к собственным капризам. Устают. Надрываются.

В те дни Лебедев говорил часто: «У меня есть такое свойство». Говорил почтительно, даже как бы религиозно, удивляясь себе, словно чуду. «У меня есть такое свойство — я ненавижу винегрет». «У меня есть такое свойство — я не ем селедки». И ученики его ужасно смеялись над этим. Фраза эта одно время употреблялась как пословица. «У меня есть такое свойство...» Да, да, несмотря на его снобическую замкнутость, умение соблюдать дистанцию, ученики знали его насквозь и любили поговорить о недостатках, о смешных сторонах учителя. Достоинства

его не обсуждались. Да, Лебедев был великолепным художником, но это было так давно известно всем. О чем же тут говорить? А вот лебедевская скуповатость обсуждалась неутомимо. И костюмы его. И романы его. И характер его. А если речь заходила о нем, как о художнике, то предпочитали говорить о его неудачах. Например, о том, что станковая живопись ему не удается. Петр Иванович Соколов — отнюдь, впрочем, не ученик Лебедева — осуждал и его рисунки.

— Карандашом можно передать мягкость пуха и такую грубость, перед которой грубость дерева, грубость камня ничего не стоят. А Лебедев знает, что мягкость пуха приятнее, и только ею и пользуется.

Знал Лебедев или не знал, что говорят о нем его ученики? Конечно, и не предполагал, как это обычно бывает. Но и он говорил о близких своих под сердитую руку, а то и просто ни с того ни с сего, с беспощадной злобой. Хуже завистника. Люди раздражали его самим фактом своего существования, стесняли, как сожитель по комнате.

Так вот он и шел, великолепный художник, свободный от веры и неверия, шагал своей дорогой, уважая силу и ее носителей, вдумчиво и почтительно слушаясь самого себя, капризничая и дуря.

Итак, в литографии я встречал непременно графиков из гвардии Владимира Васильевича Лебедева.

Это был золотой век книжки-картинки. Фамилия художника не скрывалась среди выходных данных, наряду с фами-

лией технического редактора, а красовалась на обложке, рядом с фамилией писателя.

Как это часто бывает, расцвет лебедевской группы сопровождался нетерпимостью, резким отрицанием предыдущей школы. Самым обидным, уничтожающим ругательством было «мирискусстничество». Бакст вызывал гримасу отвращения, он просто не умел рисовать. Сомов — презрительную усмешку. Головин был «украшатель», как и все, впрочем, театральные художники. Замирайло не понимал форму, и так далее, и так далее. Все они были эпигоны, стилизаторы, литераторы.

Литературность — это было самое серьезное обвинение для художника. Он обязан был высказываться средствами своего искусства. Лебедев был особенно строг к нарушителям этого закона. Даже за пределами изобразительных искусств. Он не мог простить Чарушину, что тот еще и пишет рассказы. Значит, он недостаточно одарен в своей области, если его тянет в соседнюю.

Я понимал, что это требование здоровое. Литературность — губительна для художника. Но иной раз мне казалось, что для людей, иллюстрирующих книги, некоторая доля литературности обязательна. К авторскому тексту художники относились иной раз надменно. Например, Лебедев, иллюстрируя строки Маршака, говорящие, что там, где жили рыбы, человек взрывает глыбы, — уклонился от литературной сюжетной стороны этих строк, изобразил не взрыв, а двух-трех спокойно и безотносительно к тексту плавающих рыб.

Вторым строгим требованием, которое предъявлял Ле-

бедев к ученикам, было знание материала. Точно было известно, кто знает и может рисовать лошадей, кто море, кто детей. Тома Сойера выпустили со старыми американскими иллюстрациями. Лебедев сказал, что они плоховаты, но в них есть настоящее знание материала, среды, времени.

И третьим требованием было понимание технической стороны дела. Какое клише будут делать с твоего рисунка — тоновое или штриховое? На сколько красок рассчитана твоя книжка-картинка? И перенесите свой рисунок на литографский камень сами. Должна чувствоваться авторская рука.

Итак, я шагаю по литографии, здороваюсь с художниками и с завистью смотрю на их ощутимый, видимый, отчетливый труд.

Вот Курдов, потомок курда, попавшего в плен во время турецкой войны и сосланного на Север, не то в Вятку, не то в Пермь. Он охотно отрывается от работы и хохочет, черный, широкогрудый, с чубом на лбу, с разбойничьими лапищами. Вот Васнецов, наивный, краснолицый, с выпученными светлыми глазищами. Кажется, он вспылил, да так и остался. Вот и Чарушин, ладный и складный, и уж до того открытый, словно показывает тебе горло, говоря «а-а-а...» Ну весь, весь нараспашку — и вместе с тем самая темная душа из всех. Вот Пахомов Алексей Федорович, самый взрослый, определившийся и талантливый из лебедевских учеников. На работу смотрит он спокойно, по-крестьянски, как на урожай, который несомненно удастся собрать и продать, если будешь вести себя осторожно. И это удается ему. Вот

Тамби, знаток моря, тихий, молчаливый, заикающийся, румяный, в те годы худенький. Вот и многие другие, которых я не знаю по фамилии, но здороваюсь с ними по-братски. Все мы, как когда-то в реальном училище, знакомы.

И я с завистью смотрю на их ощутительный, видимый труд, но что-то беспокоит меня. Мешает завидовать до конца. Я не хочу думать, что именно. Потом, потом! И потом, много уже лет спустя, понял я, что почувствовал почти во всех молодых художниках, несмотря на разные характеры их, и дарования, и судьбы.

Я не хотел бы быть на их месте. Да, они делали свое дело, делали отчетливо, понимая, что такое мастерство. Но так же отчетливо и нелитературно маршировали гвардейские части, и кавалеристы шагали по улице так же лихо, презирая штатских со всей их сложной жизнью.

Гвардейцы. Хоть и не графы, но графики. Аристократичность, причастность к высшим сферам заменялась тут причастностью к высшему, начисто лишенному литературности искусству. А обеспеченность — беспечностью.

Старшее поколение — Тырса, Лапшин, да и Лебедев, сколько бы он ни прятал это, — были людьми по-настоящему образованными. Я помню, как Тырса спорил с Тыняновым, заступаясь за Боткина, восхищаясь с настоящим пониманием литературы «Письмами из Испании». Они не щеголяли своими знаниями, как «мирискусстники», но питались ими по мере надобности. А молодые плыли без вся-

кого багажа, даже без лебедевской веры в сегодняшний день. Вера, неверие, знание — не оправдали себя.

И они не были одиноки в своей свободе от багажа. Новый опыт требовал новых знаний. Кто-то писал, что до сих пор, до революции, русские интеллигенты строили леса вокруг отсутствующих зданий. И в самом деле. Люди как бы впервые увидели смерть и жизнь, и подвиги, и предательство, а детство их и молодость ушли в историю. Ушло с историей время, когда они учились говорить. Лебедев, Лапшин, Тырса понимали, что старыми знаниями жить нельзя, но питались ими по мере надобности. А молодые писатели, художники, музыканты все посмеивались.

Нет, я не мог до конца завидовать художникам у литографских камней. Недавно я с помощью Маршака как бы выбрался на дорогу, почувствовал, во что верю, куда и зачем иду. Но почему же я так мало работаю? Почему томятся и слоняются, словно не находя себе места, и мои друзья? Потом, потом, это потом пойму, а сейчас вернусь к наборщику, верстающему «Еж».

У него дела идут благополучно. И у нас завязывается разговор о верстке вообще. В те дни в Москве лефовцы и их многочисленные ученики освободились от всех типографских традиций в этой области, что глубоко раздражало пожилого моего, знающего себе цену собеседника.

— С каких это пор московские наборщики указывают питерским? Московский наборщик зимой набирает, а летом

уходит на свое хозяйство, столярничает, огородничает. Раньше говорилось, что у московского наборщика на поясе верстка, а за поясом топорик. А у питерского на ногах опорки, а на голове котелок. Он о своем хозяйстве не заботится!

И собеседник мой рассказывает о легендарных подвигах наборщика по имени Афиноген Максимович, а по прозвищу Фатаген Керосинович. Он дома не бывал неделями, уверял, что жена его голодом морит. Он сосиски покупал не на вес, а на сажени, и соответственно пил. А зато как работал! В «Новом времени» уж, кажется, было из чего выбирать. Там платили так хорошо, что лучшие наборщики подобрались в типографии. Но все же Суворин особо ценил Афиногена Максимовича. Ему прощалось все. В день суворинского юбилея его одели в сюртук и позвали на банкет. А Фатаген Керосиныч, ха-ха, вот человек, напился и всю правду сказал Суворину: «Помнишь, — говорит, — как я попросил у тебя аванс, а ты отказал?» Ха-ха! Вот человек! Но и это ему простилось, потому что мастер был! Только посмеялись.

Да и один ли Фатаген Максимович! Все умели и пить, и работать. Суббота называлась у наборщиков «концерт». Пили и платили. Воскресенье: «водевиль с переодеванием». Все пропивали с себя. А понедельник: «нищие духом». Приходили в типографию — на ногах опорки, а на голове котелок. А теперь, видите ли, московская верстка пошла! Колонцифру в поле. Игра шрифтов! А кому она нужна? Иду и вижу, выставлена книжка в окне: «Сто лет малому». Что такое? Какому малому сто лет? Оказывается, Малому Те-

атру. До чего дошла игра шрифтов, что слово «театру» не видишь. Игра шрифтов! Не умеют работать и стараются придумать почуднее. Доигрались! Показали бы им прежде!

И он рассказывает, как строг был Афиноген Максимович, когда учил его типографскому делу. Как заставил угостить себя на всю первую получку. Как утром после выпивки, по дороге в типографию, увидел ученик своего учителя в дверях трактира, вполне нищего духом. «Афиноген Максимович! Поднесите опохмелиться!» А он отвечает: «Я с оборванцами не разговариваю». Ха-ха! А я был одет вполне прилично, в тройке. Ха-ха. Вот был человек.

А вдруг в этом и есть секрет, думаю я, отправляясь в цинкографию, где задерживают клише. Работа, и полная свобода! Неделями он дома не бывал. Я занимаюсь гимнастикой, бросил курить, обливаюсь холодной водой, а чтобы работать, может быть, нужна эта самая артистическая свобода от обязанностей, когда только одни законы и признаются, — законы мастерства. Из Майкопа вынес я интеллигентски-аскетический дух, уважение к естественности, сдержанность. А что если в порочности — истина? Порочный человек правдив в одной области, и это многое определяет и во всей его жизни. Не есть ли моя сдержанность — просто робость, холодность, отсутствие темперамента? Но мысли эти нарушают сегодняшнюю игрушечную свободу. Потом, потом! И я вхожу в цинкографию.

Здесь царствует тишина. В ванне с кислотой доспевают клише. Острый химический запах мешает дышать. Работа здесь идет невидимо для глаз, придет время — процесс

завершится. Может быть, и с нами так, — мечтаю я, спускаясь по лестнице и разглядывая готовые клише, которые несу на верстку. Может быть, придет день и исчезнет отвращение к письменному столу? И вернется тот поток, который так радовал меня в ранней молодости, когда писал я свои безобразные, похожие на ископаемых чудищ стихи? Конечно, он вернется. И я вижу, переживаю с массой подробностей себя в новом качестве. Я неутомимый работник! Я живу без вечного ужаса перед своей уродливостью! Я больше не глухонемой! Я слышу и говорю! У меня есть точка зрения, не навязанная, а найденная, органическая.

Мы идем к ручному станку делать оттиски первых сверстанных полос журнала. Возле машин мастера, строгие, сосредоточенные, словно врачи на консилиуме, занимаются приправкой клише. И я уже не завидую их ощутимой, видимой работе, — я так ясно вижу и себя работающим. Так ясно, что проходя через брошюровочный цех, с необыкновенной легкостью представляю себе, что это мои книжки горой высятся у столов. И это наполняет меня тем самым картонажным игрушечным счастьем, которое не могу я забыть до наших дней.

Домой я возвращаюсь пешком, чтобы подольше пожить в моем картонном мире. Я опьянен, и добр, и счастлив. Я вспоминаю о Лебедеве — и обвиняю себя в излишней требовательности. Скаковая лошадь прекрасна, когда бежит, — ну и смотри на нее с трибун. А если ты позовешь ее обедать, то несомненно разочаруешься. Лебедев-учитель и

Лебедев-художник — великолепны. Что же ты тащишь его за стол и отрицаешь его право не принимать винегрет и не есть селедки.

И почему я так уж строг к себе? О какой, собственно говоря, работе мечтаю? Почему я так сильно позавидовал графикам и наборщикам? Такую работу и я делаю. Подумаешь, подвиг — иллюстрировать чужой текст, иной раз неприятный тебе, а потом переносить свою, так сказать, вышивку на камень. А наборщики чем лучше? Да, они лихо набирают и верстают чужие слова. Не о такой работе мечтаем мы. Мы хотим рассказать нечто такое, что, по любимому нашему тогдашнему определению, «соответствует действительности».

У одних знакомых был попугай, который знал два слова: «Радость моя!» Он повторял эти единственные свои слова и с горя и с голоду. Кошка подползает к нему, перья встали дыбом от ужаса, а он вопит одно: «Радость моя!» — слова его ничем не соответствуют действительности. Не уподобляться же этому несчастному.

Все это так. Но и не работать во всю силу постыдно. И страшно. Лучше плохая работа, чем полное бесплодие.

А не начать ли работать сегодня же?

Просто записать сегодняшний день?

Но едва я начинаю перебирать то, что пережито с утра, как все впечатления, словно испугавшись, убегают, расплываются, перемешиваются. Попытки их передать — робкие и осторожные — кажутся в картонажном мире непристойными, грубыми. «Потом, потом!» — приказываю я себе.

После дня, проведенного в типографии, я начинаю уставать. Мысли теряют стройность и утешительность. Все чаще и чаще мысль обрывается, и я не думаю ни о чем, я повторяю обрывки стихов, столь же нестройных и бессмысленных, как душевное состояние, в которое я постепенно погружаюсь.

Путь мой лежит мимо маленького тесного рынка с вывеской: «Дерябкинский рынок открыт целый день».

— «От сотни дробинок укрылся я в тень,
Дерябкинский рынок открыт целый день», —

бормочу я полусознательно, полусонно.

«По сотням картинок ведет меня лень,
Дерябкинский рынок открыт целый день».

Уже темнеет, день кончается, скоро рынок закроют. Хозяйки входят в решетчатые ворота.

«От скрипа корзинок у теток мигрень,
Дерябкинский рынок открыт целый день».

И среди этого потока неподвижно и надменно, опираясь на забор или усевшись на земле, устроились инвалиды гражданской или германской войны. Совесть их чиста. Все обязанности сняты судьбой. К вечеру, так или иначе, но всем удалось опьянеть. Иные философствуют страстно, иные поют, никто не слушает друг друга, и все они в горести своей сейчас к вечеру наслаждаются жизнью, имеют точку зрения, понимают все.

«Повыше ботинок из жести голень,
Дерябкинский рынок открыт целый день».

Инвалиды счастливы. А женщины с корзинками и не мечтают о счастье, и не замечают отекших счастливцев. Какое там счастье! Они отвечают за детей, за стариков, оставшихся дома. За мужей. Они кажутся мне тут единственными взрослыми, несмотря на свою суетливость.

И мне становится страшно. Я трезвею. Я не хочу походить на поэтоподобных распухших чудовищ, как это ни соблазнительно. Но и со взрослыми мне не по пути.

И я сажусь в трамвай с тем, чтобы сегодня же непременно начать работу. Начать писать. Впрочем, сегодня я устал. Начну с понедельника. Нет, понедельник тяжелый день. Но с первого непременно, непременно, во что бы то ни стало, я начну новую жизнь. И скажу все.

ПРЕВРАТНОСТИ ХАРАКТЕРА

10 октября 1952 года я получил письмо от Веры Степановны Арнольд, сестры Бориса Житкова. Готовится сборник его памяти, и она просит принять в нем участие, написать о Борисе воспоминания. И я пришел в некоторое смятение. Я помню о нем твердо, как будто он и до сих пор живет возле, как помнишь о близких, о тех людях, которые многое изменили в моей жизни. Но что об этом расскажешь? Не все скажется, а что скажется — пригодится ли? Тем не менее, на другой же день, я, поборов привычное желание — уклониться по объективным причинам, начал писать день за днем все, что вспомнилось. А теперь переписываю это на машинке.

В 1924 году, вернувшись из Донбасса, где гостил у отца и работал в газете «Всесоюзная кочегарка», я находился в особом душевном состоянии. Был я полон двумя чувствами: недовольством собой и уверенностью, что все будет хорошо, даже волшебно, в сказочном смысле этого слова. Оба эти чувства делали меня — первое — легким и покладистым, а второе — радостным и праздничным. Никого я тогда не осуждал, — так ужасали меня собственные лень и пустота, — и всех любил от избытка счастья. Вероятно, это и

привело к тому, что я и Борис Житков, люди друг на друга вовсе непохожие, так легко стали приятелями.

Имя Борис Житков услышал я впервые от Маршака. Вдохновенно, с восторгом рассказывал он направо и налево, что появился новый удивительный начинающий писатель. Ему сорок один год (однако, — подумал я). Он и моряк — штурман дальнего плавания, и инженер — кончил политехникум, и так хорошо владеет французским языком, что когда начинал писать — ему было легче формулировать особенно сложные мысли по-французски, чем по-русски. Он несколько раз ходил на паруснике вокруг света, повидал весь мир, испытал множество приключений. Теперь начал Борис Степанович новую жизнь. Он разошелся с семьей и женился на некоей турчанке, в которую был влюблен еще студентом. Она уже немолодая женщина, врач-окулист. Поселились они на Петербургской стороне, вместе строят жизнь заново. Он пишет и учится играть на скрипке, а она на рояле. И она удивительный, необыкновенный, все понимающий человек.

Гимназию кончил Борис Житков в Одессе, вместе с Корнеем Чуковским, и, попав в Ленинград, первую свою рукопись принес к нему. Была эта рукопись еще традиционна, литературна, мало что обещала. Но Маршак почувствовал, познакомившись с Житковым у Корнея Ивановича, силу этого нового человека. И со всей силой своей бешеной энергии ринулся он на помощь Борису Степановичу.

Целыми ночами сидели они, бились за новый житковский язык, создавая новую прозу, и Маршак с умилением

рассказывал о редкой, почти гениальной одаренности Бориса. Талант его расцвел, разгорелся удивительным пламенем, едва Житков понял, как прост путь, которым художник выражает себя. Он сбросил с себя «литературность», «переводность».

— Воздух словно звоном набит! — восторженно восклицал Маршак. Так Житков описывал ночную тишину.

По всем этим рассказам представлял я себе седого и угрюмого великана, о физической силе и о силе характера Житкова тоже много рассказывал Маршак. Без особого удивления убедился я, что Борис Степанович совсем непохож на мое представление о нем. В комнату вошел небольшой человек, показавшийся мне коротконогим, лысый со лба и с длинными волосами, чуть не до плеч, с острым носом и туманными, чтобы не сказать мутными, глазами. Со мною он заговорил приветливо, — это было, кажется, у Маршака дома, а главное, как равный. Я не ощутил в нем старшего, потому что он сам себя так не понимал. Да, я сразу почувствовал уважение к нему, но не парализующее, как рядовой к генералу или как школьник к директору, а как к сильному, очень сильному товарищу по работе.

Не могу вспомнить, как скоро это вышло, но я стал бывать у него, в новом его доме, в новой семье, на Матвеевской 2, и познакомился с Софьей Павловной, тоже непохожей на мое представление о ней. Она оказалась больше похожей на добродушную, маленькую, полную, несколько рассеянную советскую докторшу, чем на турчанку, что совсем

не огорчило меня. С Борисом я скоро перешел на «ты», и всегда мне было с ним легко. Да, он был неуступчив, негладок, упрям, резок, но не было в нем и следа того пугающего окаменения, которое угадывается в старших. Какое там окаменение — он был все время в движении, и заносило его на поворотах, и забредал он не на те дорожки. Он жил, как мы, и это сближало его с нами.

Когда мы познакомились, дружба его с Маршаком казалась нерушимой. Всюду появлялись они вместе, оба коротенькие, решительные и разительно непохожие друг на друга. Вернувшись из Донбасса, я стал работать секретарем в редакции журнала «Ленинград», который тогда издавался «Ленинградской правдой». Наш стол помещался в глубине просторной комнаты, а редакция журнала «Воробей» — налево от входа, ближе к дверям. И тут я с завистью и почтительным ужасом наблюдал за тесной кучкой людей, которая, титанически надрываясь, напрягая все душевные силы, сооружала, — не могу найти другого слова, — очередной номер тоненького детского журнала. Кажется, это определение, собственно говоря, двух людей — Маршака и Житкова. Я ни разу, кажется, не досидел до конца очередных работ, но ни Маршак, ни Житков не ослабляли до глубокой ночи напряжение, не теряли высоты. Если Маршак позволял себе иной раз закашляться, схватившись за сердце, или, глухо охнув, уронить голову на грудь, то Житков не давал себе воли до конца вахты. Улыбаясь отчаянно особой своей улыбкой, опустив углы губ, — он искал все новые повороты и реше-

ния, и чаще всех, к умилению Маршака, находил нужное слово. Именно слово. Журнал строился слово за словом от начала до конца.

Посторонний зритель не всегда замечал, чем одно слово лучше другого, но и Маршак, и Житков умели втолковывать невежде, кто прав. Маршак неясной, но воистину вдохновенной речью — с Шекспиром, Гомером и Библией, а Житков насмешкой, тоже не всегда понятной, но убийственной. Желая уничтожить слово неточное, сладкое, ханжеское, он, вертя плечами и бедрами, произносил чаще всего следующее:

— Вот как сеет мужичок!

Он однажды слышал, как пели такую песенку приютские дети, а дамы-патронессы — радовались.

В те дни и Маршак и Житков были вдохновенны и ясны, а Житков был еще и сурово-праздничен, как старый боевой капитан в бою. И Маршак любовался им: вот как повернулась судьба человека! Сказка! Волшебство! Вот и славу он начинает завоевывать настоящую, тот сказал о нем так-то, другой эдак-то. И договора он подписывает уже на тех же условиях, что писатель с большим именем. А семья, а дом, а жена. А как скромно и разумно живет Житков — курит махорку.

— Не меняй жизнь, если будешь много зарабатывать! Живи, как жил, а то затянет тебя колесо! — говорил Маршак с искренним ужасом, а я слушал его с несколько отвлеченным интересом, как путешественника, который предостерегал

бы меня от жары в тропических лесах. Я в жизни своей еще не был богат, да и Маршак сам только издали повидал это искушение. Зато испытал он, как следует, на своей душе, что такое прежняя литературная среда.

— Ты не представляешь, что это за волки! Что нынешняя брань! Вот тогда умели бить по самолюбию!

И Маршак из тех времен вынес умение держаться в бою. «Надо, чтобы тебя боялись», — сказал он мне однажды, а я, к сожалению, не внял этому совету. Зато Борис в нем и не нуждался. Он с восторгом ввязывался в драку и людей, которых считал чужими, держал в страхе. Они сразу угадывали — этот кусается. Оба наполеоновски-малого роста, оба храбрые, упрямые, неустанно и с честью дрались они за настоящую детскую литературу, в пылу борьбы считая ее — единственной.

— Когда у меня есть время, я могу халтурить на взрослой литературе! — сказал однажды Маршак, преисполненный гордыни тех дней.

А выросший в атмосфере той борьбы Золотовский пожаловался (правда, несколько лет спустя):

— Какому-то Каверину дали квартиру, а мне отказали.

После «Воробья» Маршак и Житков стали работать в Детском отделе Госиздата. И там поставили они себя строго, никому не спускали, и даже ездили драться за права свои и за великую детскую литературу в Москву. Борьба только воодушевляла их, все им удавалось, даже чудеса. Как-то по дороге из Москвы Маршак предложил своей попутчице по вагону, что угадает ее имя и отчество. И угадал. Тогда

Житков угадал и имя и отчество другой попутчицы. Они рассказывали об этом, смеясь, но и гордясь: знай наших!

Правда, привычка к боям проявлялась у них не только в нужные минуты, а всегда. Со всеми. Только тронь. Поехал я с ними искать дачу в Сиверскую. Чуть успел поезд отойти, как Маршак и Житков уже ввязались в ссору с маленьким гражданином чиновничьего вида и всю душу вложили в этот бой.

Однажды пришли они в детский отдел возбужденные, опьяненные — поссорились со Шкловским.

— Его великолепно отчитал Борис! — умилялся Маршак. — Это будет Шкловскому хорошим уроком.

За что, собственно, тот был отчитан, понять было трудно. Угадывалось: прежде всего за то, что чужой.

«Вот я придумал тему: радиоприемник на металлическом зубе. Дарю ее вам», — эта фраза Шкловского больше всего возмущала Житкова.

— «Дарю ее вам»! — повторял он неестественным голосом. — «Дарю ее вам»! Ишь ты!

Через некоторое время забрел в отдел сам пострадавший. Был Шкловский мастер ссориться, привычен к диспутам, рассердившись, как правило, умнел, но в данном случае — растерялся. Он-то, видимо, не считал наших бойцов — чужими себе. Он сидел на подоконнике, нахохлившись, если так можно выразиться о человеке лысом, и доказывал Маршаку и Житкову, что они поступили с ним неправильно. Евгению Замятину, который зашел за ним, Шкловский пожаловался наивно:

— Житков говорит, что я неостроумен. Разве это верно?

И Замятин покачал головой со своей сдержанной европейской повадкой и ответил:

— Никак не могу с этим согласиться.

И, подумав, добавил:

— Уж скорее можно обвинить вас в недержании остроумия.

Почувствовав, однако, что и его добротная репутация тут ему не защита, Евгений Замятин в дальнейшие препирательства не вступил, а удалился не спеша и увел за собой Шкловского. И он был прав. Да, и он, Замятин, раздражал наших бойцов. Репутация его не признавалась в отделе. Он был тоже — чужой. И знаменитый русский его язык, со всеми орнаментами, отрицался у нас начисто. Да, Замятин писал непереводно, но холодно, поддельно, не народно. И английский его язык отрицал Маршак:

— Иду ночью по Моховой и слышу, как Замятин разговаривает с дамочкой по-английски. Во весь голос! На всю улицу! И плохо — ка́к английский дворник.

Я боюсь вспоминать о событиях роковых. О таких, которые при возникновении своем казались мелкими, нелепыми, а оказались непоправимо несчастными, необратимыми. И все-таки мне придется рассказать о том, как поссорились, точнее — как разошлись Маршак и Житков.

Размолвки, возникавшие между ними, вначале казались ужасно забавными, а в конце оказались просто ужасными.

Непримиримость и нетерпимость наших учителей шла впрок делу, пока была обращена на врагов великой детской литературы, но вот осколки собственных снарядов стали валиться внутрь крепости и зашибать своих. И этого нужно было ожидать. Очень уж они оба были несмирные люди. И Маршак, и Житков. И уж слишком готовы к бою, всегда, при любых обстоятельствах. Однажды, после очередного приезда из Москвы, Маршак пожаловался угрюмо, что он и Житков поссорились в вагоне со школьниками, с целым классом, возвращавшимся из экскурсии.

— Я забыл, что с ребятами этого возраста, да еще с целым классом, нельзя связываться! — сказал Маршак, как всегда возвышая частный случай до явления, что мне очень нравилось в те дни. А Житков вообще промолчал об этой проигранной битве.

Борис Степанович впервые за сорок лет своей жизни был окружен всеобщим доброжелательством. На него любовались. Его не только что слушали — ловили каждое слово. Но нет, он не был создан для подобной сладости. Вот один пример того, как он отвечал на ласку.

В те годы в институте Герцена профессорствовала Ольга Иеронимовна Капица, мать знаменитого физика, и начинала свою научную деятельность Екатерина Петровна Привалова. Первая занималась детским фольклором, а вторая работала в детской библиотеке института, единственной в своем роде по богатству материала. Начали собирать библиотеку эту, кажется, в XVIII веке.

Ольга Иеронимовна была женщина благостная, доброжелательная, сырая и крупная. Цвет лица у нее был слишком красный, казалось, что она страдает приливами крови к голове. А Екатерина Петровна напоминала нескладную и не слишком счастливую бестужевку.

Немногочисленные детские писатели тех дней собирались часто в детской библиотеке института такой же тесной кучкой вокруг стола, как и в редакции «Воробья», только стол тут был круглый и стоял посреди огромной комнаты.

В те дни у всего института вид был как бы полуобморочный, он еще не вполне ожил, не был освоен на всем своем огромном пространстве. Опечатанные пыльные шкафы в бесконечных коридорах. Забитые окна. Неведомо куда ведущие двери с висячими замками. Руководство института, видимо, побаивалось своего богатства и при случае даже не прочь было от него отделаться. Во всяком случае, редчайшую детскую библиотеку свою руководители не раз порывались закрыть и вывезти вон. Но каждый раз Маршак и Житков с немногими живыми людьми института поднимали шум на весь Советский Союз, клеймили позором чиновников от просвещения, ненавидевших свое собственное дело. И они отступали, ворча.

Для того, чтобы яснее представить себе обстановку тех дней, скажу несколько слов об окружении, в котором строилась детская литература.

В те дни мрачные противники антропоморфизма, сказки утверждали, что и без сказок ребенок с огромным трудом постигает мир. Им удалось захватить ключевые пози-

ции в педагогике. Вся детская литература была взята ими под подозрение. Единственное, что по их мнению разрешалось делать детским писателям — это создавать некоторые необязательные довески к учебникам.

В области теории они были достаточно страшны, но в практике были еще решительнее. Например, они отменили табуретки в детских садах, ибо они приучают ребенка к индивидуализму, и заменили их скамеечками. Теоретики не сомневались, что скамеечки разовьют в детском саду социальные навыки, создадут дружный коллектив. Они изъяли из детских садов куклу. Незачем переразвивать у девочек материнский инстинкт. Допускались только куклы, имеющие целевое назначение, например, безобразно толстые попы. Считалось несомненным, что попы разовьют в детях антирелигиозные чувства.

Жизнь показала, что девочки взяли да усыновили страшных священников. Педагоги увидели, как их непокорные воспитанницы, завернув попов в одеяльца, носят их на руках, целуют, укладывают спать, — ведь матери любят и безобразных детей. Но суровых теоретиков не смущали факты. Они добились создания в Москве Государственного Ученого Совета, ГУСа, который наравне с новыми учебниками просматривал и все рукописи новых детских книг. И каждое новое название, каждую книжку плана приходилось отбивать у ГУСа с тяжелыми боями и большими потерями. Вот в каком окружении приходилось работать, вот как редки были тогда педагоги, подобные нашим друзьям, затерявшимся в просторах Герценовского института. Они восхищались Житковым,

ловили каждое его слово, но нет, он не был создан для подобной сладости. В скитаниях своих пропитался он горечью и не умел, и не хотел жить иначе.

Однажды Ольга Иеронимовна устроила встречу детских писателей с учащимися Герценовского института. В большом зале читали мы студентам, точнее — студенткам, их было подавляющее большинство, и слушали они нас скорее испуганно, чем с интересом. Испуганные мрачными теоретиками, они боялись, что встреча с писателями затеяна неспроста. Может быть, придется еще ее на экзамене отвечать, — еще и не такие чудеса случались. Угрюмо глядели они на нас, а мы смущались. Но добрая Ольга Иеронимовна ничего не замечала. Она в этот день была от волнения еще краснее, чем обычно, словно из бани. Она подплыла к Житкову и спросила почтительно, а вместе с тем и радостно:

— Как вам понравилась наша аудитория?

И безжалостный Борис буркнул в ответ:

— Горняшки!

Не проронив ни слова, проплыла Ольга Иеронимовна дальше, только румянец ее приобрел сизый оттенок, а улыбка стала беспомощной. Вот каков был наш Борис. Он рассказывал однажды, как бродил по улицам какого-то городишки на Красном море, в тоске, без копейки денег.

— А как ты попал туда?

— Ушел с парусника.

— Почему?

— Превратности характера.

И вот к такому характеру Маршак стал все чаще, все откровеннее поворачиваться самой трудной стороной своего многостороннего существа. Он стал капризничать, что понимают и прощают друг другу женщины и мужчины женственного характера, а чего-чего, но женственности в Борисе не было и следа. Борис не понимал, что такое усталость, во всяком случае не терпел, когда люди показывали, не скрывали свое утомление. И не желал он понимать, что капризы Маршака — единственный доступный для этой натуры вид отдыха.

Должно же было хоть в чем-нибудь сказаться непрерывное, круглосуточное напряжение — ведь Маршак почти не спал. Но Житков раздражался, когда Маршак никак не мог выйти из редакции: то терял портфель, то палку, то закашливался глухо и ложился на диван. А Маршаку и в самом деле было жутко переменить положение, перейти из одного состояния в другое. Однажды он так и не выехал от Житкова, где происходило какое-то совещание, остался ночевать, но не уснул, а до утра задыхался на диване. И Житков рассказывал об этом в редакции уже с откровенной ненавистью. Все это было одной стороной существа его друга, но Житков даже как бы с радостью обижался и сердился. Эта дорожка была ему привычнее. И свободолюбие его подняло свой голос. Житкова стали угнетать те самые всенощные бдения, которые только что дали столь много ему самому.

— Все время он меня тащит под знамена, все время я должен бегать присягать!

И в самом деле чуть не каждый день трубил Маршак тревогу, призывал к оружию, немедленно, все оставив, не сегодня, а сию минуту. Сводилось дело к сборной правке чьей-либо рукописи, в которой ГУС нашел нечто непедагогичное, или к подготовке к печати очередной книжки. И уже чудилось Борису Степановичу, что Маршак слишком уступчив, слушается педагогических дам, излишне маневрирует перед ГУСом. Он все ворчал, все сердился. Отчаянно улыбаясь, он требовал более решительной борьбы, других производственных планов. Но все еще было исправимо. Еще не были сказаны вслух самые оскорбительные слова. Их не надо говорить противнику в лицо. Довольно сказать их за глаза, но вслух, чтобы вражда стала непоправимой. Житков еще признавал за Маршаком человеческие свойства, понимал, что сердится по мелочам, что во многом виноваты «превратности характера». Он еще помнил, как боролся Маршак за его славу, в какую приходил ярость при каждой попытке усомниться в житковском таланте. Он чувствовал, что Маршак любит его, гордится его успехами, как своими. Казалось, что вот-вот все прояснится. Но нет, тучи все сгущались. Становилось темно, как перед грозой, и в этой темноте трудно было разобрать, где тут мелкие обиды, а где крупные разногласия.

Я останавливаюсь на этих событиях, на этой ссоре, глупости, безобразии, пытаюсь поймать самый механизм этого дела, потому что всю жизнь болезненнее всего переживал подобного рода беды. Их легко объяснить, если допустить существование черта. Без него события, потрясшие тесную

группу детских писателей тех дней, выглядят просто загадочно. Что им было делить? Зачем расходиться? Зачем поносить друг друга усердно, истово, не сдаваясь ни на какие убеждения? Впрочем, я не совсем точен. В результате всех событий поносили истово, неустанно, непреклонно Маршака. Он сердился, как и подобает человеку несмирному, но не жил враждой, как это бывало на другом полюсе. Возле Бориса. Чтобы дело стало понятнее, мне придется рассказать о третьем крупном человеке тех дней. О моем друге и злейшем враге и хулителе, о Николае Макаровиче Олейникове.

Николай Макарович Олейников, человек демонический, был умен, силен, а главное — страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин и по роковой сущности страсти — трезвел в положенный срок. И в ледяной и неподкупной трезвости своей ненавидел с той же силой, как только что любил. И в том, что овладевала им неизбежная трезвость, винил он тех, кого только что любил. Мало сказать — винил. Он их поносил, холодно и непристойно глумился над ними. По тем же роковым законам в состоянии трезвости находился он дольше, чем в состоянии любви и восторга. Много дольше. И в страсти, и в трезвости своей был он заразителен. Но поскольку ненавидел много, много дольше, то являлся он — великим разрушителем. Он все замечал и ничего не прощал. Даже моменты неизбежной у каждого слабости не в силах был он отпустить грешникам. Если бы он, скажем, слушал музыку, то в требовательности своей не простил бы музыканту, что тот пе-

релистывает ноты и в этот миг либо не играет, либо играет одной рукой. Он возвел бы это неизбежное движение в преступление и глумился бы над ним и нашел бы множество сторонников. Был Олейников необыкновенно одарен. Гениален — если говорить смело. Как случается с умными, сильно чувствующими людьми, он и мыслил ясно, хотя бы и ошибочно. Каждому заблуждению своему умел он найти обоснование, возвести его в закон, обязательный для всех. Говорил он смело. И если Житков еще бывал осторожен в своих нападках на Маршака, то Олейников тут не знал преград.

В те дни своей жизни был Олейников особенно сердит, потому что огромному дарованию своему не находил выражения. Сам он тогда ничего еще почти не делал, не мог, а именно потому все, что делалось в детской литературе, казалось ему подделкой, уступкой, «решением арифметических задач» (любимое его выражение) — ничем.

Начав со страстного увлечения Маршаком — «что будет, если он умрет», — сказал он однажды в ужасе, в первые месяцы нашей совместной работы, когда Маршак захворал, — но вскоре отрезвел, и взял того, кого только что так любил, под подозрение. Борис, человек деятельный, испытывал вместе с тем недоверие к деятельности. Ему казалось, что действовать, то есть двигаться, — значит маневрировать, изменять некоей идеальной прямой, которую он точно представляет себе. Он уж готов был подозревать своего друга в слабостях и ошибках, а тут Олейников обвинил Маршака в предательстве, в измене из корыстных целей великому делу детской литературы.

Преступление было найдено, слово — сказано. За глаза. Эта удивительная ссора так и не имела за всю свою историю ни одного открытого боя. И, возможно, поэтому оказалась особенно ядовитой. И Борис поверил всем обвинениям, которые и самому Олейникову в ясные минуты, вероятно, казались раздутыми. И сам понес невесть что, чему в свою очередь поверил Олейников. Вот и все.

Ссора эта разбросала нас. Олейников обладал еще одним демоническим даром: он брызгал и в своих, и в чужих, в самые их незащищенные места — серной кислотой. Дружба моя с Борисом после всех ссор сохранилась, но не такая легкая и простая, как была. Уж слишком изуродовал нас обоих серной кислотой Олейников. Изуродовал в глазах друг друга. Только я знал, что изуродован, а Борис не подозревал, что и он тоже. Он прожил горькую жизнь, привык к врагам, но друзей столь демонических не имел до сих пор и так, к счастью, и не разгадал их до самого конца.

И так, постепенно, незаметно, ото дня ко дню, недавние близкие друзья, братья по работе, Маршак и Житков разошлись навеки. То, что их развело, было похуже смерти. Об умершем друге горюют, а Маршак и Житков в те дни вспоминали друг о друге с чувством похуже, чем горе.

Вся эта демоническая, или говоря проще — черт знает что за история, развиваясь и углубляясь, не могла убить одной особенности тогдашней нашей жизни: мы были веселы. Веселы до безумия, до глупости, до вдохновения.

Пантелеев вспоминает, как пришел он в 26 году в Госиздат и спросил в научном отделе, как ему найти Олейникова или Шварца. В этот миг дверь возле распахнулась и в коридор выскочил на четвереньках молодой кудрявый человек. Не заметив зрителей, с криком «я верблюд», сделав круг, он повернул обратно.

— Это и есть Олейников, — сказал редактор научного отдела.

Я не хочу отходить в этих записях дальше, чем требуется, от Житкова, поэтому не рассказываю о Хармсе и Введенском, появление которых сыграло очень заметную роль в развитии тогдашней детской литературы, о Савельеве, о художниках Лебедеве, Тырсе, Лапшине, о Пантелееве, об Ираклии Андронникове, Заболоцком — редакторе «Чижа» — и о многих других. Каждый из них заслуживает подробного рассказа, а у меня сейчас душа не лежит к этому.

Из названных Олейников, Хармс, Заболоцкий, Савельев бывали довольно часто у Житкова. Он и в пивной угощал нас широко, когда бывали деньги, повторяя одесскую флотскую поговорку: «Фатает, не в армейских», — и любил принять гостей у себя, на Матвеевской 2. Повторяю, с удовольствием: он любил гостей, это не такой частый дар божий, как можно подумать. Он радовался друзьям. Со свойственным ему отчаянным нетерпением он почти всегда встречал нас на улице, выходил навстречу. Я любил его небольшую, очень петербургскую квартиру, выходившую окнами в полутемный колодец двора. Коридор. Из него двери в кухню, столовую, кабинет, комнату, не имеющую назначения,

— это все по правую руку. А по левую вешалка, а за нею ход в ванную.

Эти сведения ничего не прибавляют к образу Бориса Житкова, но я люблю вспоминать его квартиру. В кабинете, который я называю этим именем условно, — никто у Житковых его так не называл, — стояло пианино, а возле пюпитр с нотами. На пианино чернел скрипичный футляр. На огромном письменном столе, стоявшем перпендикулярно к стене, между двумя окнами, лежали рукописи Бориса. Листы писчей бумаги всегда перегибал он пополам, писал в два столбика. Кончив дневную работу, он непременно ставил внизу столбца месяц и число.

Комната, не имеющая назначения, была, кажется, и спальней Бориса. Во всяком случае смутно припоминается мне постель у стены и стол. Бывали мы там редко. Из столовой переходили в кабинет. Или сидели в кабинете, пока не звали к столу. Основные разговоры происходили в столовой. Из-за стола не спешили вставать, и спорящий, проповедующий, отрицающий и разрушающий Борис представлялся мне именно там, на своем хозяйском месте, всегда одном и том же, или вскочившим и шагающим взад и вперед в пылу рассказа или проповеди. Попробую восстановить не самые разговоры, что невозможно, а их дух, что тоже не слишком просто.

Я уже сказал, что мы были веселы до вдохновения, до безумия, и в этом безумии была некоторая система. Остроумие в его французском понимании — глубоко презиралось.

Считалось, что юмор положений, юмор каламбура — противоположен русскому юмору. Русский юмор, с нашей точки зрения, определялся, говоря приблизительно, — в отчаянном нарушении законов логики и рассудка. Реплика Яичницы: «А невесте скажи, что она подлец!» — считалась образцовой в этом роде. Юмор Козьмы Пруткова и Алексея Толстого умилял, понимался и приветствовался.

Кто-то, кажется Жуковский, говорил: русская шутка смешна потому, что ее повторяют. Множество таких шуток повторялось в нашем кругу методично, ежедневно, при каждой встрече. Например, один из наших друзей неуклонно говорил, войдя в отдел и глядя на Олейникова:

— Много казаков порубал я на своем веку!

На что тот каждый раз отвечал одинаковым лихим голосом:

— А я их всех воскрешал!

Из шуток другого рода. Славился рассказ Хармса о неряхе, который до того распустил своих вшей, что они, когда хозяин чесал голову, кусали его за пальцы. Он рассказывал о дрессированной блохе, которая укусит, а потом почешет укушенное место лапками.

— Мой телефон — 32-15, — сказал однажды Хармс. — Легко запомнить. Тридцать два зуба и пятнадцать пальцев.

За просторным житковским столом смеялись очень много, но не анекдотам и остротам. Царствовало веселое безумие, может быть, от избытка сил, от избытка дерзости во всяком случае, которое свойственно иногда людям творческим. Одно время увлекались у Житкова задачами и загадками

особого вида, на первый взгляд бессмысленными, а на самом деле решаемыми. Особенно славилась задача, которую я, к сожалению, забыл: давались имена поездной бригады и нескольких пассажиров, без указания кому какое принадлежит, и несколько на первый взгляд случайных сведений. Требовалось узнать фамилию машиниста.

— Какая фигура получится, если угол комнаты и потолок пересечь плоскостью? — спрашивал Борис. Ответить надо было быстро, не глядя в потолок.

Но непременно ставился Борисом и какой-нибудь вопрос первостепенной важности и очень высокий, но только ни разу я не понял какой. Начинал он обычно с яростных обвинений Маршака, где понять кое-что еще было возможно (Пантелеев недавно напомнил мне одно такое обвинение: «У Маршака работать можно, а с Маршаком — нельзя»). Но после части отрицательной начиналась утверждающая и туманная. Говоря резко, отрывисто, Борис спешил перейти на примеры и притчи сами по себе интересные, но мало что объясняющие.

В чем была его вера? Попробую назвать ее приметы, на большее не осмеливаюсь.

На скрипке Борис учился играть потому, что ноту надо было на этом инструменте находить своими силами. По его мнению, клавиши рояля действовали на ученика развращающе, изнеживающе. В сочетании уже существующих тонов имелась кем-то найденная правильность, в некото-

ром роде подсказанная, чего не могла допустить свободолюбивая душа Бориса.

— «Офицер в белом кителе»! «Офицер в белом кителе»! — повторяет Борис, отчаянно и уничтожающе улыбаясь. — Так легко писать: «Офицер в белом кителе».

Эта чеховская фраза, видимо, возмущала Бориса тем, что используется готовое представление. Писатель обращается к уже существующему опыту, к читательскому опыту. А все общее, как бы общеобязательное, утверждаемое или утвержденное всеми, бралось Борисом на подозрение. И возмущалось, видимо, еще и спортивное чувство. Задача решалась больно уж просто.

— Борис все хочет поставить на ребро! — говорил сердито Маршак в те дни.

— Что он меня все спрашивает, зеленое это или синее! Я пишу о том, холодное это или теплое!

Ответ, который дал Борис Ольге Иеронимовне Капице, ответ резкий и непозволительно прямой, тоже был подсказан Борису его верой. Одна очень влиятельная педагогическая деятельница рассказала следующее. Она шла по улице с очень большим человеком. Нищий попросил милостыню. Она хотела подать ему. «Не плодите нищих», — сказал большой человек.

— Какая гадость! — воскликнул Борис, выслушав этот рассказ. Воскликнул громко, открыто, приведя в состояние изумления служащих редакции.

Вера его ощущалась в терпении, с которым одолевал он скрипку. В ежедневной работе в полную силу без малейшего послабления. Во всенощных бдениях, когда отдавался правке чужих рукописей, сочинению подписей к журнальным картинкам, не жалея себя, всем разумением, всем сердцем. Даже в дрессировке домашних зверей угадывалась его вера. Упорно переламывал он характер своего рыжего кота и добился от него полного послушания. «Стань обезьяном!» — приказывал Житков, и кот безотказно прыгал на стул, подымался мягко, словно переливаясь, на задние лапки, а передние, расставив широко, клал на спинку стула. «Алле гоп!» — и кот прыгал в обруч, обтянутый бумагой. Еще больших чудес добился он от пуделя своего по имени Кус, который понимал у него, кажется, двести слов.

Вера его, упрямая, неуступчивая, угадывалась и в его праздниках. Новый Год он не встречал, считая этот обычай глупым недоразумением. Он собирал друзей в весеннее равноденствие, требуя строго, чтобы каждый надевал что-нибудь белое. Мы выходим от Житкова поздно, холодной ночью весеннего равноденствия. Снег лежит на мостовой, и Савельев удаляется по пустынному Большому проспекту в черной шубе и белых брюках. «Ай-ай-ай! Мальчик, забыли штаны надеть!» — кричим мы ему вслед.

Вскочив со своего хозяйского места, шагая у стола, рассказывая всем сердцем, всем разумением, Борис Степанович в самые светлые минуты свои тоже славно правил службу.

Многие его книжки родились из этих рассказов. Многое из того, что услышал тогда, я словно сам пережил. Он свои воспоминания чудом превратил в мои. В Аравии солнце до того яркое, что тень кажется ямой.

Вода в заливе так прозрачна, что когда идешь к берегу под парусом, то будто по воздуху летишь. Арабы показали длинную песчаную насыпь и сказали, что это могила Евы. Во время тайфуна в Тихом океане пальмы на острове ложатся, как трава, воздух становится твердым, словно доска, держит, если ты обопрешься на него. Станешь против ветра, откроешь рот — ветер тебе забивает глотку, раздувает щеки.

Вера его сказывалась в непримиримости суждений. У него и Маршака беспартийность была ругательным словом. Но вряд ли вера его была хоть сколько-нибудь приведена в систему. Это, вероятно, необязательно, если человек по вере своей живет. Но если он еще и проповедует, то хотелось бы, чтобы символ веры существовал. Он и существовал, но едва уловимый, на сегодняшний вечер, именно на сегодняшний, со всеми его особенностями. Поэтому человек, сегодня восхваляемый, едва ли не святой, назавтра мог быть объявлен чуть ли не Антихристом. Нет, даже самим Борисом установленный символ веры стеснял бы безграничное его свободолюбие. Он веровал и проповедовал, и отлучал от церкви кого угодно, кроме нескольких друзей, которым оставался верен всегда, и принимал в ее лоно, и даже бывал прав в самые светлые свои дни. Но бывал и деспотичен, и вопиял, как прирожденный ересиарх, подчиняясь демону

своенравия, вихрю огня, которым горел всегда. Но этот огонь, как аравийское солнце, иной раз тени делал похожими на ямы.

Однажды он сообщил, что Елена Яковлевна Данько — ведьма.

— Как ведьма?

— А так. Очень просто. Не знаешь, какие ведьмы бывают?

И Борис с обычным своим огнем завел темный разговор о ведьмах. Да, они существуют. Одна его знакомая ведьма умела делать так, что человек, переступая через порог, лишался мужской силы. Другая лишала человека языка. Но если ведьме сказать, что она ведьма, то ей ничего с тобой не поделать. Не испортить тебя. И он в целях самосохранения сказал Елене Яковлевне, что она ведьма.

— Что она тебе ответила?

— Ничего. Только странно посмотрела.

И если бы только Борис! Рассеянная, утомленная, простоватая, столь похожая на обычного врача поликлиники Софья Павловна тоже верила, что обладает какой-то особой силой, давала камушки, приносящие счастье.

Разойдясь с Маршаком, Борис пытался затевать журналы невиданного типа, небывалого жанра книжки, но не довел ни одного дела до конца, точнее даже до настоящего начала. Борис не был организатором, сила его была взрывчатой. Я все реже бывал у него, жизнь моя шла своей дорогой, но мы оставались друзьями, в той степени, о которой я говорил.

Над «Вавичем» Борис работал нетерпеливо, безостановочно, читал друзьям куски повести, едва их закончив, очень часто по телефону. Однажды он позвал Олейникова к себе послушать очередную главу. Как всегда, не дождавшись, встретил он его у трамвайной остановки. Здесь же, на улице, дал он ему листы своей повести, сложенные пополам, и приказал: «Читай! Я поведу тебя под руку!»

От Бориса исходил свет, яркий свет, но иногда что-то мрачное чудилось около него и за ним. Его несло и заносило невесть куда по превратностям характера и странностям судьбы. В один печальный день встретил я его на канале Грибоедова, не доходя до нашего переулка. Шел он с Софьей Павловной. Она удивила меня незнакомым выражением своего доброго простоватого лица. Она была сосредоточена, тяжело сосредоточена на какой-то невеселой мысли, выглядела больной. Шли они тихо, мне сразу подумалось, что ведет ее Борис в больницу Перовской, что, впрочем, ничем не подтвердилось. Шли они, как я думаю сейчас, к Груздевым, с которыми подружились в то время. Увидев меня, оба, как мне показалось, несколько смутились. Борис ничего не сказал, а Софья Павловна проговорила тихо:

— Вы знаете — я заболела.

Она не сказала, чем, а я не посмел спросить. И через несколько дней услышал я с ужасом, что Софья Павловна помешалась и ее увезли в психиатрическую лечебницу, где поместили, правда, в нервном отделении. Сошла она с ума на ревности к Борису. Она занавесила окна в полутемный их

двор, чтобы Борис не переглядывался с соседками. Она не выпускала его одного из дому, не ходила на службу, чтобы следить за ним. Жизнь его превратилась в сплошное мучение. Она допрашивала его ночами о воображаемых изменах и, наконец, довела до того, что он обратился за помощью к друзьям и родным. Из Москвы приехала его сестра, а в Ленинграде пришли ему на помощь Шкапская и Татьяна Кирилловна Груздева, которую Борис с гораздо большим основанием мог обвинить в том, что она ведьма. И вот разгорелась эта демоническая черт знает что за история, и дом, семья на Матвеевской 2 — разрушились, исчезли.

Софья Павловна вышла из больницы, но с Борисом они разошлись. И жена подала на мужа заявление в городскую прокуратуру, что ее, здоровую женщину, он пытался заточить в сумасшедший дом. Дело в прокуратуре приняли всерьез. Вызвали на допрос множество свидетелей, вплоть до девиц, живших на Матвеевской 2, в полутемном дворе, от которых занавешивала окна несчастная Софья Павловна. Однажды утром мне сообщили в Союзе, что дело Житкова прекращено, а вечером позвонил некто, как мне показалось явно имитирующий следователя. Говоря подчеркнуто гладко, со всеми знаками препинания, он попросил меня придти в городскую прокуратуру в качестве свидетеля по делу Житкова.

— Но ведь оно прекращено?

— Сведения ваши неверны. Дело находится в стадии расследования.

Я выразил предположение, что меня разыгрывают. Незна-

комец в ответ дал мне телефон городской прокуратуры, позвонив по которому, я услышал вновь его голос.

— Я не хотел посылать вам официальную повестку через жилуправление. Надеюсь, теперь вы убедились, что вас и в самом деле приглашают к прокурору города в кабинет следователя такого-то?

Я извинился и отправился по указанному адресу. В высокой, высокоофициальной комнате, за большим столом сидел коротко остриженный толстый выпуклоглазый следователь. Ничего человеческого в нем я не ощутил. Говоря со мной абстрактными своими книжными интонациями, словно читая вслух, он принялся доказывать, что жалоба Софьи Павловны имеет основание, что дело не прекращено, и я обязан помочь следствию окончательно выяснить истину. Я спросил:

— Зачем было Житкову отправлять жену в сумасшедший дом?

— Чтобы общественное мнение не осудило его за то, что он ей изменяет.

Это показалось мне до такой степени нелепым, что я даже растерялся. Я не знал, с чего начать, как объяснить следователю, что за человек Борис. Я стал неспокойно и недостаточно уверенно излагать свой взгляд на дело. Следователь глядел своими выпуклыми светлыми глазами и на меня, и нет. Он как бы не видел и во всяком случае не слышал меня. Нельзя сказать, чтобы он думал о своем. Нет, он пребывал в своем абстрактном осуждающем юридическом мире, и я чувствовал, что единственный способ умилостивить его,

найти с ним точки соприкосновения — это признать его взгляд на дело Бориса, что было для меня невозможно. Убедившись в этом, следователь сухо предложил мне записать показания, что я и сделал, чувствуя, что почерк мой находится в явном противоречии с самими стенами высокой комнаты городской прокуратуры.

Выйдя на улицу, я почувствовал себя отравленным, сбитым с толку. Если бы я мог поверить в черта, то все было бы объяснимо. А как иначе понять, осмыслить эти отвратительные происшествия? Жизнь Бориса Житкова, так недавно сказочно расцветшая, — преисполнилась безумия и уныния.

Дело в конце концов было прекращено.

Борис поселился у нас в надстройке, в квартирке из одной комнаты и кухни. В своем новом обиталище завел он корабельную чистоту, варил настойки и наливки по особым, своим собственным рецептам и рисовал на них акварелью этикетки. Однажды он пил у нас чай. Передавая ему сахар, Катерина Ивановна пожаловалась, что ни в одном магазине не могла найти сахарных щипцов. Утром на другой день принесли от Бориса письмо и сверток. Он писал Катерине Ивановне, что нашел в комиссионном магазине щипцы, к сожалению, мельхиоровые, которые просит принять временно, пока он их не заменит серебряными.

История приближается к концу, и я испытываю и удовольствие, перечитывая ее, и вместе с тем — смущение.

Я рассказал больше, чем надеялся. И вместе с тем поневоле — меньше. Прошлой зимой я шел с Шишмаревой по зеленогорскому шоссе, и мы увидели возле Дома творчества художников человека, который, установив на снегу мольберт, писал маслом группу сосен и замерзшее море под ними. И Шишмарева сказала:

— Да, в природе-то понежнее, чем на полотне.

Эти мимоходом сказанные слова занимали меня несколько дней. И сегодня, перечитывая то, что рассказано, я их вспомнил. Художник, которого мы видели возле дома творчества, сделал снег синим, желая показать, что заметил эту его особенность. Более того, — синий цвет настолько поразил его, что он невольно преувеличил синеву снега. А мы думали: «В природе-то понежнее». Почему *это* свойство не поразило художника? Конечно, все было понежнее, чем я рассказываю. Мы разрушали свои и чужие судьбы, оскорбляли, больно ранили друг друга — не выходя из рамок ежедневной жизни. Очень нежно. Вполне непринужденно. Роковые ошибки выглядели не более значительно, чем простой телефонный разговор. Силу Житкова чувствовали мы всегда, но любая личная неприятность или удача ощущалась нами живее, чем, скажем, его рассказы за столом. Тем более, что он был человек, и божественная сила проявлялась в нем не каждый раз. Рядом с Пушкиным, рядом с Чеховым друзья огорчались и радовались своим делам, жили. И ничего тут не поделаешь. Так вот и мы жили, так и шагал своей дорожкой Борис, отчаянно улыбаясь, нарываясь все на драку, маленький, но каменный, сбитый, и мы шагали рядом, иногда

понимая, а иногда непростительно, по-соседски не понимая его. Но вот однажды пришел Борис Степанович к Бьянки, бледный и мрачный, с бутылкой коньяку. Не отвечая на вопросы, осушил он эту бутылку один. И уже уходя, признался: «Черта видел. Получил повестку с того света».

Что это значило? Странный этот разговор немедленно разнесся среди друзей. Мне о нем рассказал Олейников, без обычного недоброжелательства, глядя на меня внимательно. Я этим летом проверял у Бьянки, так ли это было? Да, так. Слово в слово. Бьянки пытался расспросить Бориса, что это значит, но он только отмахивался. Вскоре Борис Степанович слег. И тут никому не пожелал признаться, чем болен. Раз только сказал полушутя: «Вам скажешь, сволочи, а вы будете смеяться».

Придется, к сожалению, вскользь рассказать о разных способах, которыми начинали мы новую жизнь, чувствуя, что старая у нас что-то не ладится, заносит неведомо куда. Способы в большинстве были характера несколько механического. Дыхание. Жевание. И, наконец, — голодание. Мастером по открытию способов очищения и возрождения жизни был Олейников. Неведомо откуда добывал он брошюрки, где, например, о жевании восторженно отозвался Гладстон, который прожевывал каждый кусок не менее семидесяти раз. Голодание по способу доктора Таннера восхвалял в тоненькой книжечке Эптон Синклер. Голодание исцеляло все болезни, человек как бы второй раз появлялся на свет, полный радости и желания работать. Борис, заболев, лечился голодом, хотя он сам сказал однажды, что от его бо-

лезни таннеровский метод не помогает. Врачей к себе решительно не допускал. К этому времени был он женат на черненькой худенькой очень интеллигентной своей родственнице, она за ним и ходила, поскольку он по превратности характера это допускал. Лежал он на своей узенькой койке осунувшийся, побледневший, но неуступчивый. Иногда только мелькало на таком знакомом его лице непривычное выражение виноватости. Никогда он до сих пор не болел и стыдился своей слабости.

Жена увезла Бориса в Москву, к сестрам. Оттуда приходили невеселые вести. Рассказывали, что Борису становится все хуже, что он очень ослабел. Предполагали, что у него рак легкого. Я услышал от отца, что установить рак легкого непросто, что правильный диагноз часто ставится только при вскрытии. И этого мне было довольно, чтобы упорно верить в благополучный конец. Осенью тридцать восьмого года мы уехали в Гагры. И там я узнал, что Житков умер. Мертвый в гробу меняется, лицо светлеет, принимает спокойное выражение, молодеет, хорошеет. И я, прочитав в газете о смерти Бориса, увидел его таким, как в первый год знакомства, когда жизнь его чудесно преобразилась. Ожоги от серной кислоты исчезли. Туманные, морские, а не мутные глаза глядели на меня доброжелательно. Здравствуй, Борис Степанович, и прощай. Хоронили Житкова, как и подобает хоронить большого человека, смерть его всколыхнула, вывела из равновесия гораздо больше людей, чем ждали. А Шкловский плакал на похоронах горькими слезами. Его

ссора с Борисом оказалась обратимой, нероковой, они сблизились за последние годы, научились уважать друг друга. И скоро все мы почувствовали, что на свете без Житкова стало потише, поглаже и потемней.

ПЯТАЯ ЗОНА — ЛЕНИНГРАД

Из уважения к железной дороге я прихожу на станцию минут за десять до поезда и шагаю по платформе, все проверяя, не потерял ли билет. Квадратная маленькая, с четырехугольными колоннами, оштукатуренная и окрашенная в розовый цвет станция наша снабжена, словно крыльями, двумя деревянными галереями. В галереях диванчики для пассажиров и газета «Гудок» в застекленной рамке, и объявление репинского кинотеатра, и маленькие страшные плакатики на столбах, поддерживающих крышу. Но одном — пассажир прыгает с площадки прямо под встречный поезд, на другом — у него же под скамейкой вспыхивает незаконно провозимый бензин, на третьем — высокая платформа вот-вот сшибет его с вагонных ступенек. Этих последних плакатиков с лозунгом «Берегись высоких платформ» — всего больше.

Новая высокая платформа для электрических поездов закрывает станцию до половины ее роста. Двойные белые фонари на длинных столбах тянутся вдоль платформы. Бетонные вазы стоят у перил. Между штангами в прямоугольной раме на проволочной сетке — название станции. Весь этот высокий асфальтовый помост, со своими узорными перилами, фонарями, вазами напоминает пристань.

За шесть минут до прибытия поезд показывается вдали. Видим мы его в лоб, потому что путь до Зеленогорска

прям, как стрела. Кажется поезд черным и не по рельсам узеньким. Но вот он приобретает цвет и объем. Когда он подымается из выемки уже перед самой нашей станцией, то видим мы сначала один верх моторного вагона с прожектором, который днем только поблескивает на солнце. Плавно вырастает вагон над рельсами. С переезда доносится жиденький пастушеский звук трубы стрелочника. Пассажиры приходят в движение. Хозяйки, приехавшие в Комарово за продуктами, хватают корзины и сетки или, установив на перила набитый дорожный мешок, продевают в лямки руки, взваливают ношу на спину. По лестнице не спеша поднимается дежурная в красной фуражке, с флажком в руке.

Электричка мчится с такой быстротой, что всегда кажется, будто на этот раз она уж непременно проскочит станцию. Пассажиры гонятся за ней, но бег электрички властно замедляется и вагоны занимают положенное место во всю длину высокой платформы.

Я сажусь у окна.

Свисток. Гудок, который кажется мне влажным, — так гудели пароходы, когда мальчиком жил я летом в Туапсе. И без толчка, без малейшего усилия, устремляемся мы в путь, с места набираем скорость.

Футбольное поле, розовая дача, белая дача, лесок, голубой двухэтажный детский дом трамвайного парка имени Смирнова и окрестности Комарова кончаются. За окнами летит безмолвно лес, не комаровский, не репинский. Так проходит по крайней мере две минуты. На третьей — среди

деревьев возникают первые дачи. А через пять минут — я вижу за окном пассажиров на платформе. Репино. Лица у них напряженные, строгие, даже испуганные, хотя подходит всего только дачный поезд со множеством свободных мест. Пассажиры делают движение в одну сторону, потом в другую, в растерянности своей никак не могут решить, в какую дверь броситься. И решившись, разбегаются с быстротой, не оправданной обстоятельствами. Приходят они в себя, только разместившись и уложив свой пригородный багаж на полочку или задвинув его под скамейку. Тут они делают строгое лицо, если едут в одиночестве, а когда в компании, то улыбаются друг другу и сообщают смущенно: «Сели!» За окнами проносится последний запоздавший или выбирающий вагон пассажир. И снова влажный голос, и чудовище, только что напугавшее людей, летит вперед плавно, послушно, равнодушно.

Места в вагонах люди выбирают подальше друг от друга. Исключение составляют только игроки. Еще поезд не набрал скорости, а они уже стеснились три против трех, тасуют карты, смуглые от старости, без признаков углов, почти овальные. Играют в козла и шемайку.

Многие читают, и вагонные книги часто напоминают карты, такие же распухшие. Очень многие дремлют. Иные занимаются по тетрадкам, реже — по учебникам. Иные, разложив портфель, изучают бумаги. Разговаривают женщины и подвыпившие мужчины. Эти последние склонны к обобщениям и поучениям. Большинство же помалкивает сосредоточенно.

Изредка случаются происшествия, объединяющие весь вагон. Однажды контролер не позволил безбилетному выйти в Дибунах. Весь вагон стал на сторону несчастного зайца. Его защищали с неожиданной пугающей страстностью. Кричали и ругались открыто, даже игроки положили карты. Но и тут обнаружились люди — не один и не два — уклонившиеся от общения со спутниками. Они все помалкивали упорно, сурово, словно обет такой дали. Глядели в окно.

В дневные часы врываются с криком, не обращая внимания на осуждающие взгляды, с веселостью вызывающей, бунтовщической — школьники. Они так рады своему освобождению, что места себе не находят, шатаются из вагона в вагон. Особенно шумны ремесленники.

Однажды стеснились они на скамейках, буйствовали, словно настоящие разбойники. И только один, притулившийся к краешку, задумался о чем-то своем и молчал. Он оглядывался на стук двери, на проходящих, но это не выводило его из сосредоточенного состояния. О чем он думал? Жилось ремесленнику сложно — хватало ли ему слов, чтобы размышлять о своей судьбе? Или он мечтал?

С грохотом раздвинулась дверь, и появился разбойник с забинтованным глазом, косая сажень в плечах, лоб низкий, черные волосы барашком. Он подошел к замечтавшемуся товарищу и положил руку ему на плечо. И мальчик словно проснулся, про́сиял и сказал: «А, Баранчик!»

— Баранчик! Баранчик! — заорали разбойники. В общем шуме трудно было понять, о чем расспрашивают они Баранчика и что он им отвечает. Но вот Баранчик выта-

щил из кармана рецепты, и мы поняли, что речь идет о забинтованном его глазе. Доктор велел капать лекарство в глаз и ставить примочки, но ему, Баранчику, — наплевать. И, заржав, он разорвал рецепты и вышвырнул их в окно.

— Ну, что ты с таким сделаешь? — спросила проводница.

Заполняются все места в вагонах после Дибунов и Песочной, особенно плотно перед дневной и ночной сменой. Появляются военные. Все больше хозяек, знающих где что добывать. Они, возвращаясь с охоты, не хотят расстаться с корзинами, держат их на коленях, положив руки поперек. Иногда все они везут мешки с отрубями. В таких случаях хозяйки со своим тяжелым влажным грузом остаются на площадке. Перед выходом подталкивают свою ношу к самым дверям и сваливают на платформу, помогая друг другу.

Где-то, кажется, возле Шувалова, в положенное время продают инкубаторных цыплят. В такие дни хозяйки особенно бережны с корзинками. Сегодняшняя их добыча тоненько-тоненько пищит, словно посвистывает, и все улыбаются милой невагонной музыке. С появления на свет окружены инкубаторные цыплята людьми и ничего кроме хорошего от них не ждут. Вот к общей радости один из них выбрался из корзины — шустрый, быстрый, то пуговицу клюнет, то хозяйкин палец.

Нищие за последнее время сильно сократились, обесцветились. Просят негромко. Вступление — древнее: «Тяжело просить, дорогие граждане, но войдите в мое положение...» А еще недавно в каждый рейс бывало их два-три, иные пели, старый еврей громко играл на скрипке. Был

случай, когда нищий восстал на нищего. Вошла слепая и не кончила она еще свой обход, как в дверях стал маленький солдат без погон с перевязанной головой. Он, впившись глазами в слепую, зашептал что-то проводнице с горячечностью инвалида. А когда слепая вышла, он, обратившись к нам, сказал: «Совестно, граждане, беспокоить вас, я хотел было не просить после того, как вы уже потратились, но вас обманули, граждане. Эх, все же придется, граждане, и мне свое дело делать. Необходимость заставляет!»

И, шагнув вперед, он заговорил уже не своим голосом, начал выступление:

— Граждане, я за мир! Я помню войну со всеми ее ужасами. Она заставила меня просить, граждане, но заметьте, — прошу у вас, не иду просить на Уоль-стрит! Пожалейте солдата, оставившего здоровье на войне. Помогите ему жить в мирное время. Для вас две-три копейки ничего не составят, а мне помогут. Подайте, граждане, кто сколько может!

И он пошел, собирая милостыню, рыча и ворча, все понося слепую.

Какая-то девушка возразила робко:

— Все нуждаются!

И с горячностью инвалида солдат без погон разразился речью. Если бы мы видели, как слепая сиганула в соседний вагон, то не жалели бы мошенницу. Она видит лучше любого пассажира. Ей на охоту ходить белок стрелять с ее зрением. У нее дача на Сиверской, она на вторую собирает. Вот такие злодеи морочат трудящихся, вымогают у них деньги, а настоящие инвалиды страдают по их подлости!

Еще безумнее кричал амнистированный, обидевшийся на офицера. Он винил и его и всех нас за то, что мы тут жили как люди, когда он страдал хуже собаки. Он трясся посреди вагона, не мог и не хотел успокоиться, отводил душу.

Тронула меня, не знаю почему, татуировка на руке нищей с двумя детьми. Сначала я прочел «Два». Но потом разглядел, что первая буква вовсе не Д. Между большим и указательным пальцем темной ее кисти синело имя «Эва». Шла эта остриженная как после тифа Эва полузакрыв глаза. Просила тихо, как сквозь сон, и так же тихо благодарила, желала здоровья. У другой нищей на том же месте руки стояло клеймо «Сильва».

Однажды в вагон, словно в гости, с уверенными ухватками вбежал, улыбаясь, человек длиннолицый в длиннополом потертом пальто. На щеках кирпичный румянец.

Без всякого предисловия, сходу, запел он куплеты с припевом: «С одной стороны, с другой стороны». Он пел, точнее говорил, о крашеных девицах, о ворах, о взяточниках, о муже, который уехал в командировку: «Он любовницу заводит с одной стороны, а жене шлет телеграмму с другой стороны, а домой он приезжает — ни квартиры, ни жены!»

Мы сначала переглядывались и улыбались смущенно, но куплетист делал свое дело и развеселил, наконец, вагон. Только две гражданочки, седые, с портфелями, все искали проводницу, чтобы узнать, как это она разрешает такие пошлости. Но поездная бригада на этот раз дежурила безразличная и не отозвалась на призыв.

Проводницы, те самые, что встречают вас у входа в ва-

гон днем с флажками, вечером с фонариками, чаще всего не вступают с вами ни в какие отношения. Объявляют станции, а ближе к Зеленогорску, когда вагон пустеет, — принимаются подметать. Иной раз — будят уснувших и спрашивают: «Вам где выходить?» И все.

Но случаются бригады, полные озлобленной энергии и ненавистнической распорядительности. Проводницы этого толка объявляют станции небрежно, сквозь зубы, — и горе переспросившему. Они запрещают петь отдыхающим. Запирают вагоны, чтобы школьники не бегали по составу. Произносят речи о некультурности пассажиров, бросающих бумажки эскимо на пол, открывающих окна в дождь, не открывающих, когда жарко.

Выражение у них особенное: да, меня обидели, но больше никому это не удастся. Кто их обидел? За что ненавидят они людей? Чем гордятся? На кого гневаются? На всех, на всех. Они всеми недовольны. Нет-нет, мир устроен не на их лад и вкус, все время приходится наводить порядок. И не только в вагоне. Ах, с какой начальственной уверенностью в правоте своей повествовала во весь голос проводница о некоей дачнице, пришедшей снимать ее домик.

— Нищая, по пальто видно, — а лезет! Нет уж! Бедняк — и сиди в городе, загорай на асфальте. Туда же — за людьми тянется!

Но и среди пассажиров случаются обидчики.

Давно-давно, когда ходили только паровые поезда, 14 марта 1951 года, после несчастного дня возвращался я ночным поездом домой. Проводником ехал мужчина — невиданная

редкость в дачном поезде. От Дибунов остался я в одиночестве, и стук колес отуманил и успокоил меня. И проводник задремал на первой скамейке. И вдруг словно гарью запахло, весь покой пропал и воцарилась тревога. Женский жалобный плач ворвался в ровный вагонный шум. Прибежала проводница, совсем девчонка, с кукольной бессмысленной мордочкой, вся в слезах.

— Перестань! — закричал на нее испуганно проводник. — Не глупи!

Она жаловалась шопотом, а он все вскрикивал:

— Не смей! Тебе еще хуже будет! Не сдавши вагон, не уходят! Что ты докажешь? Очнись! Приди в разум!

Эти строгие окрики, очевидно, сделали наконец свое дело, потому что девчонка перестала всхлипывать, поправила берет, погляделась в круглое зеркальце и ушла. И я спросил, что случилось. Усатый, сутулый, сохраняя все то же испуганное выражение, проводник пересел ко мне и, доверчиво глядя мне прямо в лицо, посвятил меня в бригадные горести.

Девушке восемнадцать лет. На транспорте она всего только второй день. А ее назначили в курящий вагон.

— А народ в курящем грубый, это космар, что за народ. Скажу тебе как мужчина мужчине — наскакивают на нее. Один отнял фонарь и залез к ней под юбку. Космар!

— Почему же ее назначили в курящий, когда в бригаде имеется мужчина?

— С бригадиршей не поладила! — воскликнул проводник. — Кто бригадирша? Такой же рабочий человек, как и

мы с тобой, а дали ей власть над десятью людьми, и бес в нее вселился. Все гордится, все помалкивает, все примечает, и что есть, и чего нету. А девчонка одна дочь у матери, балованная, училась в техникуме, там дела не пошли и показалось ей, что на железной дороге рай. Пятьсот рублей. Двенадцать часов отработаешь — сутки свободна. А что вышло? Не понравилась бригадирше, попала в курящий вагон. И теперь вот заявляет, что ей жить не хочется. Космар! Заявляет, что она вернется с Белоострова домой, к маме. Глупит!

И не спуская с меня своих испуганных глаз, шевеля усами, поведал он мне как мужчина мужчине, что вокруг творятся обиды и несправедливости. Рассказывал он мне о мастерах-злодеях, требующих от молодых работниц без всякого снисхождения — сам понимаешь чего. И повторяя любимое свое словцо «космар!», сообщил он множество историй об обидчиках-пассажирах. Такие попадаются принципиальные — умереть. А начальники на их стороне. Похвали ты меня — они не поверят. А выругай — пожалуйте.

Бригадирша ростом с хорошего мужчину, в черной железнодорожной шинели и в берете, с лицом белым и непоколебимым, прошла через вагон, не удостаивая нас взглядом. Ее подвитые волосы ниспадали на широкие мужские плечи.

— Полюбуйся на нее, — зашептал проводник. — Не баба, не мужик, не кенарь, не кенарейка, не ворон, не ворона, прическа — Петр Великий!

После Репина возвращается к нам заплаканная девчонка. И мы узнаем, что обидчик ее, которого она мечтала сдать

в милицию в Зеленогорске, — «Соскочил сейчас на ходу, крохобор, паразит!»

Мне выходить. И я говорю на прощанье:

— Не расстраивайтесь, барышня. Все наладится.

И она взглядывает на меня без всякого выражения всем своим глуповатым кукольным заплаканным лицом, не расслышав, а вернее, не поняв.

За время поездок накопились знакомые, точнее, люди, которых узнаешь.

С давних пор, еще со времен паровых поездов я узнаю седую, смуглую, худую, словно опаленную внутренним пламенем продавщицу эскимо. Она одна имеет право торговать на ходу поезда. Остальные — только на остановке. Мне кажется, она с ее баском и уверенной повадкой похожа на секретаршу директора в большом учреждении. Знаю я и сестру ее, живущую в Дибунах. У этой последней сын-подросток спас солдата, провалившегося под лед, подполз к нему на животе, подволок доску. Мать жаловалась:

— Никогда не боялась, когда он долго не возвращался, а теперь все дрожу.

Любил я артиллериста, старшину, за простоту, понятность и здоровье. Угадывалось оно во всем. И в его голосе, и в его складности. Однажды он уговорил, можно сказать, протрезвил пьяного, который все снимал сапоги и укладывался на скамейке спать, а на вопрос — вам где выходить — отвечал: на улице Восстания. Занялся старшина этим делом охотно, явно от избытка сил, и несокрушимая доброжелательность его рассеяла пьяное упорство. Он бе-

режно под руку вывел пьяного в Дибунах. И все мы любовались старшиной. Он или переведен или отбыл срок своей службы. Я не встречаюсь с ним около года.

Знаю я жену футболиста, тоненькую, легонькую, почти девочку, с очень белым нежным лицом. У нее два мальчика. Младшего она еще кормит. Она рассказывала однажды подруге, что нет для нее дня счастливее последнего матча. А то сидишь и ждешь, что привезут мужа покалеченным. О иных я знаю только где им выходить. Женщине с еврейским лицом и вологодским выговором — в Парголове. Большелобой девочке с тетрадками — в Белоострове.

Ездит в поезде существо, которое я ненавижу и боюсь. Я увидел этого парня впервые в Удельной. Лет ему примерно шестнадцать, башка котлом, щеки как подушки, глаза щелочками. Хрипит. Он и его беззубый спутник шли через вагон, нарочно задевая пассажиров, умышленно громко рассуждая, найдут ли в Ленинграде девочек, попадут ли в кино.

— Не пропадем, не в Америке! — хрипел большеголовый. С тех пор попадался он мне раза три, и все тут же, в Удельной, и с тем же хихикающим спутником, все так же проталкивались они через вагон и примерно в одно и то же время. И в последний раз я подумал — уж не выродок ли он, состоящий на учете в Удельнинской психиатрической больнице?

В августе 53 года любовался я счастливицей. Ехала она из Зеленогорска. Ситцевое платьишко, утиный нос, глаза светлые, брови бесцветные, будто их и нет, белесые волосы кren-

делем на затылке. Но при всем при том — молодая. И все ее будничное существо сияло счастьем. Щеки пылали, она улыбалась, ничего не видя. То, что произошло с ней в Зеленогорске, конечно, было ей редкостью, а вернее всего — полной новостью. Глядя в пространство, она вдруг засмеялась, схватилась за виски от стыда и восторга, — вот какие чудеса припомнились ей. На ее белой шее краснели пятна. После Белоострова она уснула, у Шувалова проснулась, но не отрезвела.

Прошлой весной, подъезжая к Ленинграду, вышли мы на площадку и помешали влюбленным, мальчику и девочке, видимо, десятиклассникам. Она казалась уже барышней, и одета была заботливо, а он выглядел взъерошенным щенком. Они ссорились. Увидев нас, барышня сделала неподвижное и безразличное лицо. А мальчик, неопределенно улыбаясь, уставился на пути. И вдруг, мы и ахнуть не успели, как открыл он вагонную дверь и шагнул в пространство. Прыгнул на ходу с площадки. Ссора, значит, уже дошла до того, что мальчик уже и не знал, чем задеть, как взять верх. Страсти детей неудержимы.

Вот так люди этого возраста и кончают самоубийством.

Когда мы вышли из поезда, девочка, сохраняя все то же каменное выражение, пошла не спеша, но не к выходу, а обратно к краю платформы, чтобы дождаться безумного своего друга. Мы тоже оглянулись на пути. Там все было спокойно, никто не бежал с носилками, и мы порадовались.

За эти годы я настолько пригляделся к дороге, что узнаю

станции без проводниц. Репино — по привокзальной площади с магазинами. Солнечное — по липовой аллее. Белоостров — по унылому поселку без признака зелени, Дибуны — по церкви, превращенной в склад, Песочную — по сосновому леску за платформой, Левашово — по чайной и гастроному с траурной белой по черному вывеской, Парголово — по обрывистым холмам, Шувалово — по могилам, что теснятся над озером, Удельную — по длинным рабочим баракам у самого полотна, Ланскую — по тому, как высоко взгромоздилась она над асфальтированными, уже вполне ленинградскими улицами. И узнаю я все остановки еще по множеству признаков, которые вспоминаешь, едва увидев из окна станцию, и забываешь, едва поезд отойдет.

И эта игра памяти, и то, что меняются времена года и меняешься ты сам, превращают привычный путь в новый, сколько бы ты им ни проезжал. И всегда он, хоть и на час только, но уводит из привычной колеи. В удачные дни стук колес обостряет внимание, оживляет воображение, как музыка. Смотришь то на домики, то на деревья, то на дорожку в поле, как на музыкантов или актеров: ишь ты, как они сегодня играют!

И дорожные мысли льются свободно, легко. Видишь осыпающуюся березу и думаешь: нечего горевать, это здоровая желтизна, похожая на цвет созревшего плода. Смотришь на женщину с тонкими губами и жесткими волосами и думаешь: она делится только на себя и на единицу. А соседка ее, добрая, мягкая, на все согласная — четное число. Радуют эти мысли, как открытия, легко возникают, легко

забываются и переходят иной раз в дремоту. Но родятся среди них и такие, что запоминаются на всю жизнь.

Однажды, в двадцатых годах, ехал я летом в Сестрорецк. Налево, низко над горизонтом, стояло солнце, огромное и красное в тумане, а направо полная и столь же огромная луна. Это было как во сне. Глядя на луну, я тревожно и бессильно искал слов для того, чтобы определить ее. На что она похожа? На апельсин? На щит? И каждая попытка сравнения уводила меня все дальше от того, что я видел. И вдруг словно ударила разрешающая, радостная мысль. Открытие, открытие! Луна есть луна! С облегчением и восторгом глядел я на планету, открывшуюся мне над лахтинскими болотами.

Мы подъезжаем к Ленинграду. Вагон наполовину опустел. Многие вышли в Удельной, еще больше народу — в Ланской. Дома, огороды, улицы отступают. Город после Ланской уступил место путям, стрелкам, поездным составам. Долго бежит электричка по этому привокзальному миру. Пассажиры, подчиняясь все той же дорожной тревоге, уже толпятся на площадке. Никто, часто даже поездная бригада, не знает, с какой стороны окажется платформа. Поэтому мы раза два переходим от двери к двери, пока поезд не замедлит ход. Урны для окурков, фонари, ленинградский деревянный, а не асфальтовый помост. Самые нетерпеливые прыгают на ходу. Иные закуривают, что приводит в ярость проводниц из властолюбивых бригад. Все торопятся, теснятся у дверей, лукавят, обходят друг друга. Иные сообщают попутчикам: «Приехали!»

И весь перрон заполняется толпой, идущей в одном направлении.

У выхода мы видим за белой решеткой тесно сбившуюся смену нашу, новых пассажиров. Они жаждут попасть в те вагоны, из которых мы так спешили вырваться. Пока мы не освободим перрон, решетка не разъедется в разные стороны на своих колесиках, не откроются ворота тесного загона. Мы спешим как можем, а смене чудится, что мы бредем вызывающе медленно. И они недобро поглядывают на нас.

Но вот толпа приезжих редеет. Проводят под руки тяжело ступающую старуху со свинцовым лицом. Проходит пьяный, проповедует во весь голос, полный восторга, понимающий решительно все. И ворота за нами запираются, а перед сменой нашей разъезжаются с визгом.

И новые пассажиры бегут, бегут озабоченные, даже испуганные, и свободно размещаются в опустевшем поезде, стараясь занять места подальше друг от друга. Только игроки стеснились и тасуют карты, мягкие от старости.

За пять минут до отхода пробуют двигатели. Кажется, что гигантский винт, гудя, вращается над всеми скамейками. И точно в назначенное время пассажиры слышат свисток кондуктора, влажный голос моторного вагона, и поезд плавно, послушно, равнодушно устремляется вперед, летит туда, откуда пришел.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Тетрадь №1

Друзья и близкие Евгения Львовича Шварца рассказывают о его пристрастии к толстым и большим тетрадям. Если его спрашивали, что подарить ему на день рождения, он говорил: амбарную книгу. В объемистую тетрадь больше входило, в нее можно было дольше писать. В сорока амбарных книгах он записал всю свою жизнь, воспоминания о друзьях и недругах.

Предлагаемая читателю «Тетрадь №1» имеет формат обычной тетради, но переплетено в ней около 500 листов. Если бы выполнялся первый пункт правил (писать ежедневно), тетради хватило бы ненадолго, а мы узнали много больше, нежели знаем сейчас (заимствовано у Андерсена и Шварца). Но это правило не выполнялось. И сейчас тетрадь более чем наполовину пуста. Шварцу же принадлежит там только 18 листов.

«Тетрадь №1. Начата 19 июля 1928».

Ровно четыре года назад в июльском номере журнала «Воробей» было напечатано первое произведение, написанное Евг. Шварцем, — «Рассказ старой балалайки». В следующем году выходит несколько его книжек для детей в стихах и прозе, а журнал «Новый Робинзон» в шестом и девятом номерах публикует одну из интереснейших, на мой взгляд, сказок Шварца — «Два друга: Хомут и Подпруга», написанную великолепным раешником. Он становится редактором этого журнала и ведет отдел писем. Его ответы ребятам насмешливы и остроумны. Их он подписывает так же, как подписывал свои заметки и фельетоны в «Кочегарке» и «Забое» — Щур.

К июлю двадцать восьмого года вышло более десяти небольших книжек Шварца. Их иллюстрировали замечательные художники — В.Конашевич, В.Ермолаева, А.Пахомов.

К июлю двадцать восьмого года у него накопился уже солидный редакторский опыт — «Всесоюзная кочегарка», «Забой», «Новый Робинзон», детское отделение ГИЗа, с января начал выходить новый ежемесячный журнал для детей младшего школьного возраста — «Еж».

В двадцать восьмом году он работал над «Ундервудом».

В двадцать восьмом году ему исполнялось тридцать два года.

Пора было осмыслить сделанное, свое восприятие мира, заставить себя записывать ежедневно свои впечатления, мысли, увиденное в поезде, в трамвае, в редакции, на улице. И тут подвернулась толстая тетрадь, которую он и надписал первым номером.

Ни одна из записей не датирована, поэтому трудно установить, когда та или иная сделана, но первые — «По дороге в Псков» — написаны сразу же по возвращении из Пскова и соответствуют, по-видимому, дате 29.7.28. А последняя — «Туапсе» — сделана осенью 1929 года, после поездки на юг летом того же года.

Для исследователя творчества Шварца или его биографа наибольший интерес представляет, по-моему, первая часть тетради — «Философский кашель», «По дороге в Псков». Это небольшая повесть. Первая ее глава «Я все вижу!» — это вступление, план. «В дороге человек умнеет. Пока он сидит на месте, любой пустяк: скверный разговор, корректура, заседание — могут заслонить от него весь мир. В дороге ты оторвался от всего — и все видишь. Я понял все: что нужно делать, как быть, как интересно стоят вагоны на рельсах, какая трава».

И в последующих он пишет, что же он увидел в том, как стоят вагоны, какая трава, что нужно делать и как быть.

Мир — это ковер с замысловатым рисунком, расшифровать который не так-то просто. А чтобы не сбиться и не запутаться, нужно наблюдать, записывать и осмыслять записанное. «Есть мир, ты, бумага, перо. Только эти данные помогут тебе решить задачу».

Трудно удержаться, чтобы не цитировать еще и еще отдельные выражения, предложения, целые куски из «Философского кашля», но читатель прочтет их и без меня.

Следующим идет раздел «Факты и догадки». Это небольшие картинки-зарисовки с того громадного ковра жизни, о котором он писал вначале. Здесь и сценка в трамвае и в редакции, и услышанные разговоры, и вырезки из газет.

Работавшие в то время в редакции «Ежа» рассказывают, как по-разному относился Евгений Львович к авторам, приходившим туда. Редакционная комната была почти квадратной. Посередине стоял большой стол. Вернее — несколько составленных вместе столов, покрытых красной скатертью. С одной стороны сидели редакторы, с другой — художники. Большое окно, почти во всю стену, а напротив — дверь. Евгений Львович должен был сидеть за столом лицом к двери, но чаще его заставали на подоконнике. Если в редакцию прихóдил самоуверенный автор и спрашивал: «Кто здесь редактор Шварц?» — Евгений Львович каким-то чудом перемахивал через этот стол и, приземлившись перед носом удивленного автора, отвечал: «Я — редактор Шварц». Если же приходил застенчивый, не уверенный в себе автор, Евгений Львович бывал к нему очень ласков, боялся чем-нибудь обидеть и непременно провожал того до выхода.

Так, однажды пришел в редакцию «прихрамывающий, интеллигентный, красногубый, немолодой безработный человек» и принес четыре бездарные книжечки для детей. Приводя в «Тетради» сти-

хи оттуда, Шварц не веселится над их автором. В записи «Мой девиз» чувствуется боль за человека, которому нечего есть, и боль за литературу, в которую бросаются за куском хлеба.

Мне не удалось разыскать газету, из которой сделаны вырезки, не переписанные, а просто вклеенные Шварцем в «Тетрадь», и потому даже здесь мне неизвестна дата. Заголовок «Что надо» дал этим вырезкам скорее всего сам Евгений Львович. Вот они:

«Рабочий в книге хочет видеть красивые выражения, чтобы впечатление от книги осталось на многие годы».

«— Даже у пролетарского писателя Серафимовича и у того тип рабочего надуманный! — говорит рабочий Коровин с фабрики «Дукат». — Не короткими рассказами писать, а длинными романами».

«Основное же совершенно справедливое требование рабочего читателя к новой книге — это «Дайте нам книгу занимательную, рисующую подлинную жизнь и написанную простым, понятным, красивым языком». Это, повидимому, отчет о какой-то читательской конференции, подписанный С.Е. Нелепость его положений не требует комментариев, не комментирует их и Шварц.

После этих наклеек он долго не делает записей в «Тетради». Последующие страницы исписаны другими корреспондентами.

И вот — «Туапсе». В обращении к друзьям-соавторам он называет «Туапсе» очерком, отрывком из романа. Здесь уже чувствуется рука превосходного мастера слова. Описание города, его улиц, строящегося мола создают реальное ощущение зноя, духоты, пропыленности южного города. «А на улице с самого раннего утра жара, жара, пыль. Серые деревья, мягкие дороги, на столбах можно писать пальцем, на скамейку не сядешь — пыль, пыль». «Клубится, не уходя, сплошным облаком пыль».

Читаешь эти строки и чувствуешь, как пыль начинает скрипеть на зубах, как весь покрываешься серым облаком — волосы ста-

новятся бесцветными и жесткими, как спирает дыхание от духоты и хочется вместе с автором стать в очередь к одной из бутылок, где продают холодное пиво.

«У домов серые кипарисы, серые акации, серые кусты».

На такой жаре недолго потерять человеческий облик. На наших глазах веселый армянин превращается в озверевшее животное. И для этого Шварцу нужно всего несколько строк.

Каждая зарисовка в этом очерке поражает подробностью, точностью, наблюдательностью и авторским отношением к происходящему.

Последняя запись, сделанная рукой Евгения Львовича в этой тетради, — «Письмо». Это призыв писать!

«Пишите!

Я больше не буду задерживать очередные статьи. Сейчас у нас пойдет живой обмен.

Пишите!»

И не написал. Ни одной строчки.

Так еще не раз будет в его жизни.

В шестом номере «Нового Робинзона» за 1924 год появилось начало сказки «Два друга: Хомут и Подпруга», о которой я уже упоминал. В девятом номере — продолжение. Конец так и не был написан.

Почти с самого рождения «Еж» стал печатать «Карту с приключениями». В тридцатом году Шварц выпустил «Карту» отдельным изданием и, по-видимому, стал охладевать к придуманному самим жанру. В 1933 году «Карта» печаталась уже всего в двух номерах (первом и девятом) и то на одной-двух страницах. В последнем номере этого года в «Письме "Ежа"» читателям писатель Е.Шварц торжественно обещал, что будет писать для каждого номера «Карту с приключениями». И не написал. Ни одной строчки.

Так он не написал и романа, главой которого должна была стать статья «Туапсе».

И только в сорок девятом году, начав писать воспоминания, которые он так не хотел называть мемуарами, он писал их до самых последних дней своей жизни.

Евг. Биневич

Тетрадь №1 Начата 19 июля 1928.

ЖУРНАЛ

Правила:

1. Писать ежедневно.
2. Не вырывать ни одного листика.
3. Сотрудников трое.
4. Записи в журнале не подлежат оглашению.
5. Один из сотрудников может давать задания двум другим.
6. Черновики запрещаются.
7. Вычеркивать прозрачно.
8. Писать можно о чем угодно, что угодно и как угодно.
9. Все на свете интересно.

19/VII 28.
Ленинград.

ПО ДОРОГЕ В ПСКОВ
(Философский кашель)

Я все вижу!

Когда я ездил в Псков — я поумнел. В дороге человек умнеет. Пока он сидит на месте, любой пустяк: скверный разговор, корректура, заседание — могут заслонить от него весь мир. В дороге ты оторвался от всего — и все видишь. Я понял все: что нужно делать, как быть, как интересно стоят вагоны на рельсах, какая трава.

Как стоят вагоны

Если смотреть издали — ясно видишь: до чего легко стоит вагон на рельсах! Колесо касается рельсы только одной точкой.

Трава

Даже на самых больших станциях между путями растет трава. А в Пскове курица привела на траву цыплят. Цыплята прыгали по рельсам и шпалам, а когда подходил паровоз, цыплята бежали во всю прыть опять на траву. Рельсы и паровоз — железные, цыплята — пуховые, но они сосуществовали вместе, и приятно было на них смотреть.

Один цыпленок попробовал напиться из лужицы нефти — и закашлялся.

Как быть

Человек ждет событий, ясно выраженных указаний, чистого цвета и полного счастья. Начитанный, мечтательный человек!

Все в мире замечательно и великолепно *перепутано*[1]. Это же форменная ткань. Это такой ковер, что хоть плачь. Но начитанный и мечтательный человек обижается, ловит мир на противоречиях, устает от сложностей и засыпает. Он плюет на этот ковер. Он себе его не так представлял. Он вообще не верит, что на свете есть вещи, достойные внимания, то есть ясно выраженные.

Но они есть, о мечтательный человек! Правда, концы и начала замечательных вещей прячутся в серединах и продолжениях других замечательных вещей.

Правда, очень легко человеку сбиться, но есть один чудесный способ не сбиваться. Я продам тебе этот способ, о мечтательный человек. На, бери его. Вот он: *смотри*.

Смотри. Смотри

Вот и все. Смотри — и все. Смотри, даже когда хочется щуриться. Смотри, даже когда обидно. Смотри, даже когда

непохоже. Помни — мир не бывает не прав. То, что есть, то есть. Даже если ты ненавидишь нечто в мире и хочешь это нечто уничтожить — смотри. Иначе ты не уничтожишь. Вот. Понятно?

По железным рельсам бегают мягкие цыплята, один очень хороший человек вдруг повел себя как дрянь, ты всю жизнь ждал одной вещи и, получивши, обрадовался меньше, чем думал: то ты едешь к морю, и море не похоже на то, которое ждал, то слон меньше ростом, чем думал, — нет чистых красок, полного счастья, ясно выраженных указаний.

Как это хорошо! Ты окружен Америками, а Колумб ты один. Золото и драгоценные камни, колонии, леса! Обратите ваше внимание! Смотрите!

Что нужно делать

1) Все нужно делать. Человек, который делает работу плохо на том основании, что она маленькая, пропал! 2) Мир перепутан, но паровоз остается паровозом, а цыпленок — цыпленком. Когда подходит паровоз, цыпленок удирает в траву. Будь паровозом или цыпленком. Помни о чужих, непоборимых и враждебных стихиях. Если ты попробуешь быть всем — ты все поймешь, перестанешь удивляться, пугаться, удирать. О чем же ты тогда будешь писать или, скажем, играть? Ну? Дурак! Пугайся! 3) Итак: оставаясь собой — таращи глаза на мир, будто видишь его первый раз. Угадывай течения и линии в великолепном мировом клубке. Записывай. И никому

не верь! Есть мир, ты, бумага, перо. Только эти данные помогут тебе решить задачу. Помни — ты ничего не знаешь. Но забудь, ради бога, что ты занят величественной работой, миропониманием. Если ты будешь об этом *думать* все время, ты надорвешься, высохнешь, потеряешь всю легкость и веселость, без которых мир окончательно непонятен. Но *чувствовать* все время, что ты занят задачами мирового масштаба, нужно. Тогда (возвращаясь к пункту 1) — делай все. И во всем у тебя будут отклики великих пространств! Бесконечных времен!

Пример. Когда Чехов[2] играет Хлестакова, он *чувствует* задачи мирового масштаба. Когда Чехов играет Гамлета, он *думает*, что ворочает мирами, и — где легкость? смех? Нету ничего.

«Ваши билеты!»

Все вышеизложенное есть попытка восстановить памятный мне ход мыслей по дороге в Псков. Мечтательный человек, которого я ругаю и поучаю, — это я сам, я — лентяй. «Ваши билеты!» — это говорит кондуктор. Это значит — доехали: за окнами уже пошли псковские сады, семафоры, вагоны. Собирайте вещи, выходите. Ход мыслей обрывается. Вагоны, которые легко стоят на рельсах, очень хорошие люди, которые знают, что хотят. А цыпленок, который выпил паровозной нефти и закашлялся, — это я, полезший в чужую мне стихию. Это я — философствующий.

ФАКТЫ И ДОГАДКИ

Милиционеры

Сегодня утром я видел, как пять милиционеров шутили, толкались и щекотали друг друга. Они, видимо, ехали с дежурства и радовались. Это было на трамвайной площадке.

Мой сосед по трамваю сказал:

— Наверное, взятку взяли, что такие веселые.

Моему соседу было сорок два года. В руках он держал газету, полную обличений, отчетов о судебных процессах, писем в редакцию.

Революционные вещи

Вчера в редакцию пришла старая женщина в шляпе и в митенках. Она сказала: «Сейчас такой недостаток в подлинно революционных вещах для маленьких...»

Мой девиз

Сегодня прихрамывающий, интеллигентный, неудержимо вежливый, красногубый, немолодой безработный человек принес четыре книжечки для детей.

Книжечки самодельные. Для печати. Одна называется

«Пионерская песня ”Мой девиз”». Над заглавием автор нарисовал пионера. Под заглавием: «Цена 5 коп.». По краям книжечка обклеена цветной бумагой. Стихи, например, такие:

Я малолетний пионер,
Но уж во мне живет мечта:
Встать грудью за Союз С Эс Эр,
Коль подойдет к нему беда.

На оборотной стороне написано:

Ноты для хорового пенья к песне
«Мой девиз» продаются особо
по цене 35 коп. экз.
Перепечатка воспрещается!

Другая книжка называется «Неведомый герой». Стихи, например, такие:

О жизнь! Тебя хоть люди клянут,
Но умирать все ж не хотят.
И лишь в лицо кончине взглянут,
Тебе все горести простят...

Третья книжка: «Дед Борзодум». «Книжка цифирня». Стихи такие:

1
один
(единица)
Жить не сладко бобылю,
Если даже он с деньгой.

Все же думушку свою
Разделить нельзя с другой...
И всегда, как сыч в лесу,
И в погоду и в грозу
Он **один, один, один...**

2
два
(двойка)
Пара — то же, что и два,
Только разные слова.
Жена да муж — всего их **два**.
А кто меж ними голова?
Сначала языком скажи,
А после пальцем укажи.
(Вестимо, тот, кто поумней.)

Рисунок, изображающий
мужа и жену.

Вот. Человек занимал крупные должности. Большой Дон-Жуан. Красноречив. Сокращен уже год назад, и все без работы!

Четвертая книжка похожа на третью.

Потрачена на книжки масса труда. Они обклеены, изукрашены, переписаны странным узорным почерком. На каждой из них обозначена цена, издание. «Перепечатка воспрещается!»

Видишь, милка!

Портниха рассказывает: «Муж у меня, видишь, милка, с ума сошел. Родилось у нас двое, а потом девять лет детей не было. А на десятый год — видишь, милка — я и забеременела. Так он, милка, возьми и сбесись. Ребенок, говорит, не от меня! Я в больницу легла рожать, а он детям говорит: если черненький ребенок будет, я мать с дому выгоню. Родился, видишь, милка, верно, черненький. Муж молчит, ни слова. Подошел поздравить. А я ему говорю: «Сволочь! За десять лет что я от тебя заслужила? Перед детьми срамишь? Жизнь моя перед тобой — с кем я могла ребенка прижить?» Молчит. И пошел у нас, милка, бойкот. Как он денег на обед не даст — мы его за стол не пускаем. Дети его дразнят. Я его, знаешь, милка, не ругала, но начну подругам говорить: есть, мол, такие-то и такие-то люди — а он понимает, что это я про него. Ну вот. С год так прошло, и он, видишь, милка, помешался. Тихо помешался. Сидит и плачет. Пришлось мне, милка, ходить за ним как за маленьким. Доктор говорит — расположение, почва как-то... Два года проплакал. Мне, видишь, милка, и жалко, и уж я ему смерти желала. Квартира у нас, милка, маленькая. Духота от него. Грязно. Ну, он и верно помер. Перед смертью смотрит на ребенка и плачет: прости, говорит, мальчик! Ты, говорит, мой, мой. А мальчик, видишь, милка, вылитый он, только черненький — в бабушку. Похоронила — поплакала. Десять лет со здоровым да два с больным прожила! И сейчас, по старой памяти, как беда какая,

я и думаю — с Васей надо посоветоваться. А потом и вспомню: что же это я, господи! Ведь он помер!»

Разговоры

«Такая я была хорошенькая, а теперь смотрю в зеркало — голова прямо не моя стала!»

«Мяконькое дело — какое право! Меня же ударили, меня же и в отделение. Мяконькое дело!»

«Ж е н а. Знаете, мне даже стыдно. Скажешь ему ночью: дай воды — и он шлепает босой на кухню.

М у ж. Да, во мне этот стоицизм очень развит».

«Меня бить? Где мой наганчик?! Где мои стальные пульки!»

«Жена молодая, а он уже не так молодой. Ему бы пивную открыть, а он женился».

«Ох, какое умное лицо у этого Бетховена! Теперь нет таких гениев!»

Нищий

Нищий сидел у моста. Перед ним пустой мешочек. На пустом мешочке копейки — черные большие и желтые маленькие.

У ворот дома напротив — ломовая! лошадь, битюг. Сам ломовой куда-то отлучился.

Вдруг битюг пошел на тротуар, заржал, заноровился.

Старик нищий вскочил, подбежал к страшному битюгу, ловко цапнул его под уздцы и заорал полным голосом:

— Эт-та что? Ну-ну! Куды!

Битюг испугался, стал на место.

Нищий выругал его нехорошим словом и пошел к своим копеечкам.

Туапсе

На перекрестке стоит бутылка в две сажени вышиной. В бутылке сидит человек и продает пиво. Тяжелые кружки то и дело ныряют в цинковый таз, потом мокрые — под пивной кран, а потом полные ледяным пивом — через окошечко на улицу.

А на улице с самого раннего утра жара, жара, пыль.

Серые деревья, мягкие дороги, на столбах можно писать пальцем, на скамейку не сядешь — пыль, пыль.

Покупатель стоит у бутылки и вытирает лицо платком. Потом кончиком платка протирает углы глаз, потом сморкается, взглядывает на платок и укоризненно качает головой — пыль, пыль.

Бутылка сделана из фанеры и покрашена в темно-зеленую краску. Из горлышка лезет пена, выпиленная из фанеры. На пене, серой от пыли, сидит живой голубь с открытым

клювом. Он вертит головой вправо, влево, смотрит, где бы напиться.

Негде напиться — везде пыль, жарко.

Бутылки стоят на каждом перекрестке. Торговля в бутылках идет без перерыва. Город растет.

[Вот вывески на одном квартале:][3]

Упаковываем лучший виноград для уезжающих.

Мед, воск, фрукты и вина союза кустарей.

Галантерейная торговля:
Все для Вас.

Для подарков. **Местные вещи.** Для подарков.

Мануфактура братьев Аскинязий.
Чувяки, пояса, кинжалы.

В парикмахерской вместо двери — разноцветные ленты. Через окно наискось — бумажный плакат: «Электрические, охлаждающие веера для всех ожидающих».

В городе беспокойно, как в квартире во время большой уборки. Клубится, не уходя, сплошным облаком пыль. Тут дом в лесах, там роют фундамент. Около Троицких казарм строят бензинный завод. У базара строят Центральный междусоюзный клуб.

Все школы полны до отказа: в классах, в коридорах, в физических кабинетах, в красных уголках — всюду экскурсанты. Школы сейчас не школы, а экскурсбазы.

Город стоит на холмах, улица то вверх, то вниз. Дома невысокие, белые. У домов серые кипарисы, серые акации, серые кусты.

Прямо перед городом прежде было море. Теперь море стоит синей, узкой полосой за портом, за молами.

Порт еще строится.

От двух мысов навстречу друг другу протянулись два мола. От мола до берега — сплошь кишат землечерпалки, барки непонятной формы, моторные лодки с высокими насосами, фелюги, баркасы. Плывет широкая машина с колесами. Странный пароход — мачты сдвинуты к носу и к корме, а середина длинная, несуразная, как туловище таксы. Вода не морская — желтая, зеленая, в радужных нефтяных пятнах, несвежая.

Берег — новый. Он вдвинут в море на двадцать саженей. Землечерпалки вычерпали со дна моря ил. Новый берег слеплен из ила.

Влево от старого порта новый берег уже готов, высох. По плоской долине ветер гоняет тяжелую пыль. У старого порта еще кончают постройку берега.

Здесь илистые болота. За болотами плавает большая машина. От машины на болоте идет толстейшая резиновая труба. Из трубы невысоким тяжелым фонтаном бьет ил.

По мягкому илу проложены доски. От старого берега по болотам, вытянувшись в ниточку, идут к машине столбы с электрическими проводами. На столбах фонари.

Машина шумит, свистки свистят, стучат цепи, плещет ил.

По доскам ходят люди с ведрами и собирают что-то в болотцах.

Рыбу собирают.

Рыбы ошалели от шума, мечутся, не знают, куда деваться. Иные попадают в машину и вылетают из трубы с илом, иные выбрасываются на берег сами.

У нового берега глубина будет 40 саженей. Могут приставать океанские пароходы.

В городском парке заиграла музыка. Обеденное время.

Дорожки в парке усыпаны камушками. Низкие серые кусты, редкие седые деревья. Листья от пыли кажутся железобетонными.

Столики на веранде. На столиках судки.

Порция чебуреков 45 копеек.
Порция — 8 штук.

Музыканты в белых апашах. Их четверо. Пианист, скрипач, альтист, виолончелист.

Когда они отдыхают, слышно, как отчаянно в сухой траве палят цикады.

Против парка — милиционер, худой, желтый, востроносый. [Лица нет — один профиль.] Тощая цыплячья шея торчит из широкого воротника.

Милиционер поминутно зевает. Милиционер болен малярией. Здесь все болеют малярией. Однажды два малярика бредили друг с другом ночью. Окна у них закрыты. Жужжит малярийный комар. Духота.

— Я иду по тоне. По то-не.

— Потонет?

— По тоне!

— Кто потонет?

— Тоне!

— Тоне?

— По тоне!

— Тоне?

Юг ядовит. Раньше через этот город текла речонка. Теперь вместо речонки — засохшее гноище. Коровьи ребра, кости, дохлые кошки, обрывки шерсти, банки, солома.

У вокзала режет кур веселый армянин. У армянина длинный нож, как в сказках у людоеда. Куры в деревянной, низкой, большой клетке. Армянин хватает курицу за ногу и на верхней перекладине клетки — раз ножом. Голова летит в клетку, в клетку к живым курам брызжет кровь, куры кудахчут, а зарезанная прыгает и летает по пыли вокруг армянина. Вот вокруг него пляшут уже пять кур, вот — десять, пыль, перья.

Армянин разошелся.

Последних кур он насаживает в клетке на кончик ножа, достает их на ноже наружу и сбивает им головы на лету. Куры уже не кудахчут, а каркают.

Вот и нет кур.

Клетка пуста. Тихо.

Иные зарезанные куры уже застыли, иные еще трепыхаются, иные летают.

Проехал конный милиционер. Лошадь испугалась — под самыми ее ноздрями пролетела пестрая курица. Вместо головы между крыльями птицы торчал кровавый пенек.

Милиционер нагнулся и хлестнул курицу кнутом.

Бац! — выстрел. Это на базаре. Взвизгнула женщина.

Бац! Бац! Посыпались стекла. Кто-то закричал: «Матушки, кончился я!» Бац! Бац! Бац!

У вокзала спят, не просыпаясь, люди. Стрельба их не разбудит. Они три ночи простояли у кассы, чтобы уехать отсюда. Сейчас они отсыпаются, а вечером у кассы опять подымут драку, крик. Они и спали бы у кассы, но сейчас вокзал моют. Люди спят в серой тени под редкими деревьями.

На вокзале моют кафельный пол. Моют его черной водой с карболкой. Стоит неблагополучный, расстроенный запах.

Буфетчик сидит, подобрав ноги, на стойке рядом с бутербродами. Он взволнованно смотрит на согнувшихся до полу босых уборщиц и пристает к ним.

Начальник станции работает в духоте. Перед ним счеты и регистратор. «Из четырнадцати семь — будет восемь», — шепчет начальник и откидывает на счетах восемь и пишет в книгу — восемь.

Стены в кабинете начальника до середины выкрашены серой клеевой краской, а выше — побелены.

— Вот если бы до верха этого серого была бы вода, — мечтает начальник. — Поплыть бы. У миллионеров есть бассейны в комнатах.

За окном — горячие паровозы, нагретые солнцем вагоны, мягкий асфальт.

*

Письмо

Дорогие друзья! Этот год отличается тем, что он вертит человека как игрушку. Я уже перестал понимать что к чему. Никогда я так много не был занят, никогда я так мало не работал. Самые лучшие вещи вдруг утратили все зацепки и проскальзывают через тебя как дым. Ничто не выводит тебя из состояния равновесия. Тупое равновесие!

Я ко многому отношусь сейчас как извозчичья лошадь к вывескам. Вывески яркие, с картинками, но кнут, экипаж, оглобли и хомут!

Дорогие друзья, мне необходимо несколько очнуться. Нужно принять душ. Нужно взять себя за шиворот. Дорогие друзья, я прошу вас — не ругайте меня.

Я сейчас пишу довольно много — это душ, шиворот, пробуждение. Предыдущая статья «Туапсе» — это отрывок из романа. Может быть, я спасусь и начну понимать что-нибудь.

Я к чему это клоню — к журналу клоню.

Пишите!

Я больше не буду задерживать очередные статьи. Сейчас у нас пойдет живой обмен.

Пишите!

Мы все в суете. Жизнь летит, как камушек. Ездят извозчики. Свистят мильтоны..

Пишите!

* * *

Три коротких примечания:

[1] То, что подчеркнуто здесь, подчеркнуто и в подлиннике.

[2] Речь идет о великом русском актере Михаиле Чехове.

[3] Заключенное в квадратные скобки прозрачно вычеркнуто автором согласно седьмому пункту правил.

Приложение 2

[Страницы из дневника]

1942 год

9 апреля.

Для новой пьесы интересно бы взять такое действующее лицо. Ему сорок пять лет. Учился он в Технологическом институте. Но в 16-м году его мобилизовали. В гражданскую войну в Томске женился он на сестре милосердия. Демобилизация. Ребенок. Поступил счетоводом в Гороткомхоз. Потом стал бухгалтером. И все это «пока». Жизнь уходит? В том-то и отличие его, что нет у него такого чувства, что уходит жизнь. Чтобы это заметить, надо остановиться, оглянуться, войти в колею — а ему все кажется, что он и не начинал жить. Что ни год, — то перемена, и все вот-вот начнется окончательная жизнь. И вот опять едет он в теплушке. Внизу умирает кто-то, а он — выработалась высокая техника — не видит и не чувствует этого. И вот несет его куда-то. Еще переждать чуть-чуть, и начнется она, спокойная, настоящая жизнь.

Читал о Микельанджело, о том, как беседовал он в саду под кипарисами о живописи. Читал вяло и холодно — но

вдруг вспомнил, что кипарисы те же, что у нас на юге, и маслины со светлыми листьями, как в Новом Афоне. Ах, как ожило вдруг все, и как я поверил в «кипарисы», и «оливы», и даже мраморные скамейки, которые показались мне уж очень роскошными, стали на свое место, как знакомые. И так захотелось на юг.

17 апреля.

Искусство вносит правильность, без формы не передашь ничего, а все страшное тем и страшно, что оно бесформенно и неправильно. Никто не избежит искушения тут сделать трогательнее, там характернее, там многозначительнее. Попадая в литературный ряд, явление как явление упрощается. Уж лучше сказки писать. Правдоподобием не связан, а правды больше.

25 апреля.

Для сказки может пригодиться — деревня, где вечно дует северный ветер. Избы выгнулись, как паруса, и стволы деревьев выгнуты, и заборы.

28 апреля.

Вчера не написал ни строчки, потому что у меня болела голова, все было безразлично и мне казалось, что не стоит и пробовать взять себя в руки. За это время я ничего

не сделал. Никак не могу напасть на работу, в которую можно скрыться, как я скрылся в пьесу «Одна ночь». Над нею я работал так, что меня ничего не огорчало и не задевало всерьез. Все бытовые неприятности казались мне мелкими, то есть такими, какими они и были на самом деле. А сейчас я стою, как голый под дождиком.

23 июля.

17 июля я уехал в Котельнич, гостил у Рахманова и пробовал делать то, что умею хуже всего — собирал материалы для пьесы об эвакуированных ленинградских детях. Рахманов принял меня необычайно приветливо и заботливо. Вероятно, благодаря этому я чувствовал себя там так спокойно, как никогда до сих пор в гостях. Видел эвакуированные из Пушкина ясли, детская санатория бывшая. Говорил с директоршами — это было очень интересно, но как все это уместится в пьесу, да еще в детскую? Когда бомбили станцию, педагог, выдержанная и спокойная женщина, была так потрясена и ошеломлена, что сняла зачем-то туфли и, шепча ребятам «тише, тише», повела их за собою, как наседка цыплят, и спрятала их в стог сена. И ребята послушно шли за нею на цыпочках, молча и покорно, старательно спрятались. Это только один случай.

1943 год

19 марта.

Военный взял в интернате ленинградских ребят на воспитание девочку. Когда он приехал за нею, ему описали ее, сказали, что зовут ее Галя и что она сейчас играет во дворе. Военный вышел, увидел группу детей, узнал Галю по описанию и позвал ее. К его удивлению, девочка закричала: «Папа!» и бросилась к нему. Тронутый этим, повез он свою четырехлетнюю воспитанницу в Киров. Дома он спросил ее: «Какую игрушку тебе купить?» — «Да разве ты не знаешь?» — удивленно спросила девочка. — «Не знаю». — «Лошадь купи! — сказала девочка. — Лошадь такую же, как ты мне принес в Ленинграде». Она не сомневалась, что за нею приехал отец, которого она не видела полтора года и который давно уже погиб на фронте.

1944 год

31 января.

Блокада вокруг Ленинграда снята. Это взволновало всех нас. Говорили только об этом. Ждем каждую ночь приказов.

28 марта.

Я пробую начать писать новую пьесу о приключениях Мушфики — так в Таджикистане называют Насреддина. Пока у меня ничего не получается. Репетиции «Дракона» идут

полным ходом. Акимов заболел дня три назад гриппом, что тормозит работу. «Дракон» как будто получается.

Каждый вечер диктор говорит по радио значительным голосом: «В восемь часов пятьдесят минут будет передано важное сообщение». И в указанное время передает о взятии городов, о победах, «вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». На Украину уезжают врачи, инженеры. Как раньше на улицах говорили о карточках, ценах, болезнях — теперь говорят о пропусках, вагонах, вызовах. Ощущение торжества.

15 декабря.

Я почти ничего не сделал за этот год. «Дракона» я кончил 21 ноября прошлого года. Потом все собирался начать новую пьесу в Сталинабаде. Потом написал новый вариант «Дракона». И это все. За целый год. Оправданий у меня нет никаких. В Кирове мне жилось гораздо хуже, а я написал «Одну ночь» (с 1 января по 1 марта 42 года) и «Далекий край» (к сентябрю 42 года). Объяснять мое ничегонеделание различными огорчениями и бытовыми трудностями не могу. Трудностей, повторяю, в Кирове и Сталинабаде было больше, а я писал каждый день. Нет у меня оправданий, к сожалению.

Вчера я смотрел «Нитуш» в Вахтанговском театре. Это очень легкий, прелестный спектакль. В фойе ощущение премьеры, толпа. Контроль дважды прорывали какие-то отчаянные молодые люди, кажется, студентки и студенты театрального

института. Аплодировали все время — каждой удачной фразе, каждому эффектному уходу, декорациям Акимова. Все наслаждались театром, соскучились без легких, артистичных, веселых спектаклей. Сегодня ходил с Акимовым в Репертком, разговаривал о новом варианте «Дракона».

1945 год

23 июля.

17 июля 1945 года я переехал на старую мою квартиру, которую в феврале 42-го разбило снарядом. Квартира восстановлена. Так же окрашены стены. Я сижу за своим прежним письменным столом, в том же павловском кресле. Многое сохранилось из мебели. Точнее — нам кажется, что многое, потому что думали мы, что погибло все. Часть вещей спрятала для нас Пинегина, живущая в квартире наискосок от нас. Она уезжала на фронт. Квартира ее была запечатана, и поэтому вещи сохранились. Итак, после блокады, голода, Кирова, Сталинабада, Москвы я сижу и пишу за своим столом у себя дома, война окончена, рядом в комнате Катюша, и даже кота мы привезли из Москвы, так что, уходя, я открываю дверь так же осторожно, как четыре года назад, чтобы кошки не сбежали. Перед глазами моими прежние окна тех квартир, что напротив — только жильцы не те. Из восьми, примерно, квартир, с которыми мы за семь лет мирной жизни освоились настолько, что сразу узнавали, если подходили к окну знакомые лица, не осталось никого. Нет, осталась одна квартира, где три от-

чаянных мальчишки вечно свешивались через подоконник. Собирались разбиться. Сейчас все они здесь. Они стали старше, конечно, но через подоконник свешиваются по-прежнему. И это единственная квартира, в которой вставлены все стекла. В остальных — половина рам, а в некоторых и все забиты фанерой. Но живут во всех квартирах. Итак, я сижу на прежнем месте, и старая моя фарфоровая чернильница вернулась ко мне, но странное чувство беспокоит меня. Иногда, несмотря на разбитые окна напротив, мне кажется, что я не уезжал, и ничего не было. И сразу чудовищность этой мысли начинает томить и беспокоить. Но я дома, дома.

25 июля.

...Я сажусь на двадцатый номер, который стоит у конечного своего пункта. Подходит второй вагон. Кондуктор сообщает: «Граждане, вылезайте, второй поезд пойдет раньше первого». Все повинуются. Когда мы проезжаем мимо поворота к Михайловскому замку, я с радостью вижу, что конную статую растреллиевского Петра вырыли и она лежит на боку возле постамента, чтобы вернуться на место после четырех лет войны. К Петру у меня особенное отношение. Я каждый раз в страшные дни сорок первого года, глядя на пустой постамент, говорил себе, что Петр на фронте. В Союзе я с радостью увидел Леву Левина, который приехал из армии в отпуск. Юра Герман там же. Он и Лева говорят о том, как странно после четырех лет войны опять шагать вместе по набережной.

11 августа.

Ночью шел по бульвару вдоль Марсова Поля. Взглянул на Михайловский сад и сам удивился — до того он был прекрасен. Точнее — как меня потрясла его красота — вот что меня удивило. Вечером девятого пошел к Герману с Наташей. По дороге мы услышали позывные московского радио. У Германа нет приемника, и только поздно вечером мы узнали, что началась война с Японией. Мы сидели в большой комнате Германа, окнами она выходит на Мойку. Напротив — квартира Пушкина. Все окна в ней без стекол. Вместо них — не то серая фанера, не то кровельное железо. И у Германа из четырех комнат полупригодны для жилья только две. В окнах фанера, только в одном есть почти полностью стекла. Мы сидели и вспоминали о том, как в этой же комнате услышали о начале финской кампании, как сидели тут у окон в июне сорок первого, и все думали-гадали, что с нами будет. И вот сидим и говорим о новой войне. Вчера Япония капитулировала. Вот мы встретились опять у Германа и опять говорили о войне. И я опять, когда шел домой, радостно удивился тому, как поразила меня красота Мойки у Дворцовой площади.

1946 год

10 апреля.

Я получил медаль за оборону Ленинграда. За месяц до этого — медаль за доблестный труд во время войны.

Приложение 3

Выдержки из записок Е.Л.Шварца, цитируемые В.Кавериным в книге «Вечерний день»

(текст Каверина дается курсивом)

«Я шагал по улице и увидел афишу: "Вечер Серапионовых братьев». Я знал, что это студийцы той самой студии Дома искусств, в которой я пытался учиться. Я заранее не верил, что услышу там нечто человеческое. Дом искусств помещался в бывшем елисеевском особняке. Мебель Елисеевых, вся их обстановка сохранилась. С недоверием и отчужденностью глядел я на кресла в гостиных, пневматические, а не пружинные, на скульптуры Родена, мраморные, подлинные, на атласные обои и цветные колонны. Заняв место в сторонке, стал я ждать, полный недоверия, неясности в мыслях и чувствах. Почва, в которую пересадили, не питала. Вышел Шкловский, и я вяло выслушал его. В то время я не понимал его лада, его ключа. Когда у кафедры появился длинный, тощий, большеротый, огромноглазый, растерянный, но вместе с тем как будто и владеющий собой М.Слонимский, я подумал: «Ну вот, сейчас начнется стилизация». К моему удивлению, ничего даже приблизительно похожего не произошло. Слонимский читал современный рассказ, и я впервые смутно осознал, на какие чудеса способна художественная литература. Он опи-

сал один из плакатов, хорошо мне знакомых, и я вдруг почувствовал время. И подобие правильности стал приобретать мир, окружающий меня, едва я попал в категорию искусства. Он показался познаваемым. В его хаосе почувствовалась правильность, равнодушие исчезло. Возможно, это было не то, еще не то, но путь к работе показался в тумане. Когда вышел небольшой, смуглый, хрупкий, миловидный, вопреки суровому выражению лица, да и всего существа, человек, я подумал: «Ну, вот теперь мы услышим нечто соответствующее атласным обоям, креслам, колоннам и вывеске "Серапионовы братья"». И снова ошибся. Был поражен, пришел уже окончательно в восторг, ободрился, запомнил рассказ «Рыбья самка» почти наизусть. Так впервые в жизни услышал я и увидел Зощенко. Понравился мне и Всеволод Иванов, но меньше. Что-то нарочитое и чудаческое почудилось мне в его очках, скуластом лице, обмотках. Он бы мне и вовсе не понравился, но уж очень горячо встретила его аудитория. Соседи говорили о нем как о самом талантливом. Остальных помню смутно. Не понравился мне Лунц, которого я так полюбил немного спустя. Но и полюбил-то я его сначала за живость, ласковость и дружелюбие. Проза его смущала меня, казалась очень уж литературной. Но потом я прочел «Бертрана де Борна» и «Вне закона» и понял, в чем сила этого мальчика. На вечере он читал какой-то библейский отрывок, где все повторялось «Моисей бесноватый», что меня раздражало. В конце вечера выступил девятнадцатилетний Каверин еще в гимназической форме, с поясом, с бляхой. Уже на первом вечере я почувствовал, что под именем

«Серапионовых братьев» объединились писатели и люди, мало друг на друга похожие. Но общее ощущение талантливости и новизны объясняло и оправдывало их объединение».

Передо мной лишь маленькая часть этих «ме», с апреля 1942 года до декабря 1944-го. Но это та часть, по которой можно судить о целом. О чем рассказывается на этих страницах?

Здесь и запись всего, что может пригодиться для будущей работы, и случайные встречи, и подхваченные на лету выражения («это сокровище я берегу как зеницу ока» или «чтобы рассердиться на ребенка, тоже надо силу иметь»). Здесь и замыслы будущих произведений. То и дело встречается: «Для сказки может пригодиться»... «хорошо бы написать сказку следующего содержания»... «надо в новой пьесе попробовать роль человека, скрытного до чудачеств».

Болезненно-острое ощущение безотлагательности работы, которая откладывается то по внешним, то по внутренним причинам, пронизывает дневники от первой до последней страницы. И вот итог: «Я почти ничего не сделал за этот год. Оправданий у меня нет никаких. «Дракона» я кончил 21 ноября 1943 года».

Оправдания были, и он сам много пишет о них. Но, очевидно, они казались ничтожными в сравнении с могущественной необходимостью работы.

Здесь и размышления, поражающие соединением глубины с простотой. Иногда они изложены от имени героя воображаемой пьесы. Но герой и шварцевское «я» совпадают.

«Искусство вносит правильность, без формы не передашь ничего, а все страшное тем и страшно, что оно бесформенно и неправильно. Никто не избежит искушения тут сделать трогательнее, там характернее, там многозначительнее. Попадая в литературный ряд, явление как явление упрощается. Уж лучше сказки писать. Правдоподобием не связан, а правды больше».

Или: «Когда смотрят пьесу или читают книгу, расстраиваются в грустных местах, даже плачут. Смеются в веселых. А в жизни те же люди черствы и угрюмы, когда следовало бы растрогаться или посмеяться. Что это значит? Это значит, что они так же мало видят жизнь, как снимающийся в фильме актер видит фильм, пока он не смонтирован. Это первая причина. Вторая — когда человек мог бы увидеть в жизни больше, чем актер в своих кусках будущего фильма, он все-таки мало видит. Он ослеплен страстным интересом к самому себе. Он все равно не зритель, а участник, больше всего сосредоточенный на самом себе и больше всего понимающий себя. Он жалеет только себя и связанных с собой. А раз он видит только себя, то общая картина опять-таки неясна. В театре, в кино, в литературе он с помощью автора видит картину целиком, плачет и смеется и размышляет».

Здесь и впечатления, их особенно много: «Когда я выхожу на крыльцо, то мне вдруг начинает казаться, что все еще наладится. Больше того, — счастье, как мне кажется, ждет меня, вот-вот придет. Что это — предчувствие, воспоминание или просто после душной комнаты свежий воздух оживляет, туманит голову?»

Здесь и описания, неизменно скупые, лаконичные, но так же, как в очерках, о которых я рассказал, соотнесенные с собственным мироощущением. Таковы первые впечатления от Сталинабада — заинтересованность, радостная попытка понять чужую жизнь, ожидание счастья. Но «на душе смутно и не может быть иначе у человека, когда идет война».

Приложение 4

Из записок Е.Л.Шварца о Маршаке

[...] Я пришел к Маршаку в 24 году с первой своей большой рукописью в стихах — «Рассказ Старой Балалайки». В то время меня, несмотря на то что я поработал уже в 23 году в газете «Всесоюзная кочегарка» в Артемовске и пробовал написать пьесу, еще по привычке считали не то актером, не то конферансье. Это меня мучало, но не слишком. Вспоминая меня тех лет, Маршак сказал однажды: «А какой он был тогда, когда появился — сговорчивый, легкий, веселый, как пена от шампанского». Николай Макарович [Олейников] посмеивался над этим определением и дразнил меня им. Но так или иначе мне и в самом деле было легко и весело приходить, приносить исправления, которые требовал Маршак, и наслаждаться похвалой строгого учителя. Я тогда впервые увидел, испытал на себе драгоценное умение Маршака любить и понимать чужую рукопись, как свою, и великолепный дар радоваться успеху ученика, как своему успеху. Как я любил его тогда! Любил и когда он капризничал, и жаловался на свои недуги, и деспотически требовал, чтобы я сидел возле, пока он работает над своими вещами. Любил его грудной, чуть сиплый голос, когда звал он: «Софьюшка!» или «Элик» — чтобы жена или сын пришли послушать очередной вариант

его или моих стихов. Да и теперь, хотя жизнь и развела нас, я его все люблю. [...]

15/I[19]51. г.

Тогда Маршак жил против Таврического сада, в небольшой квартире на Потемкинской улице. Часто, поработав, мы выходили из прокуренной комнаты подышать свежим воздухом. Самуил Яковлевич утверждал, что если пожелать как следует, то можно полететь. Но при мне это ни разу ему не удалось, хотя он, случалось, пробегал быстро маленькими шажками саженей пять. Вероятно, тяжелый портфель, без которого я не могу его припомнить на улице, мешал Самуилу Яковлевичу отделиться от земли. Если верить Ромен Роллану, индусские религиозные философы прошлого века утверждали, что учат не книги учителя и не живое его слово, а духовность. Это свойство было Маршаку присуще. Недаром вокруг него собрались в конце концов люди верующие, исповедующие искусство — а разговоры, которые велись у него в те времена, воистину одухотворяли. У него было безошибочное ощущение главного в искусстве сегодняшнего дня. В те дни главной похвалой было: как народно! (Почему и принят был «Рассказ Старой Балалайки».) Хвалили и за точность и за чистоту. Главные ругательства были: «стилизация», «литература», «переводно». [...]

Маршак, чувствуя главное, вносил в [...] споры о нем необходимую для настоящего учителя страсть и «духовность». Само собой, что бывал он и обыкновенным человеком, что́ так легко прощают поэту и с таким трудом — учителю. Вот почему

все мы, бывало, ссорились с ним, зараженные его же непримиримостью. Ведь он бесстрашно бросался на любых противников. Как я понимал еще и в те времена, сердились мы на него по мелочам. А в мелочах недостатка не было. Но ссоры пришли много позже. Я же говорю о 24 годе.

16/I

К этому времени с театром я расстался окончательно, побывал в секретарях у Чуковского, поработал в «Кочегарке» — и все-таки меня считали скорее актером. В «Сумасшедшем корабле» Форш вывела меня под именем: Геня Чорн. Вывела непохоже, но там чувствуется тогдашнее отношение ко мне в литературных кругах, за которые я цеплялся со всем уважением, даже набожностью приезжего чужака, и со всем упорством утопающего. И все же я чувствовал вполне отчетливо, что мне никак не по пути с Серапионами. Разговоры о совокупности стилистических приемов как о единственном признаке литературного произведения наводили на меня уныние и ужас и окончательно лишали веры в себя. Я никак не мог допустить, что можно сесть за стол, выбрать себе стилистический прием, а завтра заменить его другим. Я, начисто лишенный дара к философии, не верующий в силу этого никаким теориям в области искусства, — чувствовал себя беспомощным, как только на литературных вечерах, где мне приходилось бывать, начинали пускать в ход весь тогдашний арсенал наукоподобных терминов. Но что я мог противопоставить этому? Нутро, что ли? Непосредственность? Душевную теплоту? Также не любил я и не принимал ритмическую прозу

Пильняка, его многозначительный, на что-то намекающий, историко-археологический лиризм. И тут чувствовалась своя теория. А в ЛЕФЕ была своя. Я сознавал, что могу выбрать дорогу только органически близкую мне, и не видел ее. И тут встретился мне Маршак, говоривший об искусстве далеко не так отчетливо, как те литераторы, которых я до сих пор слышал, но, слушая его, я понимал и как писать и что писать. Я жадно впитывал его длинные, запутанные и все же точные указания. Математик Ляпунов, прочтя какую-то работу Пуанкаре, сказал: «А я не знал, что такие вещи можно опубликовывать. Я это сделал еще в восьмидесятых годах». Маршак, кроме всего прочего, учил понимать, когда работа закончена, когда она стала открытием, когда ее можно опубликовывать. Он стоял на точке зрения Ляпунова. Начинающего писателя этим иной раз можно и оглушить. Но я — по своей «легкости» — принял это с радостью, и пошло мне это на пользу. Все немногое, что я сделал, — следствие встреч с Маршаком в 1924 году.

17/I

В 1924 году весной вокруг Маршака еще едва-едва начинал собираться первый отряд детских писателей. Вот-вот должен был появиться Житков, издавался (или предполагался?) детский журнал при «Ленинградской правде». Начинал свою работу Клячко — основал издательство «Радугу». Маршак написал «Детки в клетке», «Пожар». Лебедев сделал рисунки «Цирк». Его уверенные, даже властные высказывания о живописи положили свой отпечаток и на всей нашей работе.

Но все это едва-едва начиналось. Была весна. Я приходил со своей рукописью в знакомую комнату окнами на Таврический сад. И мы работали. Для того, чтобы объяснить мне, почему плохо то или иное место рукописи, Маршак привлекал и Библию, и Шекспира, и народные песни, и Пушкина, и многое другое, столь же величественное или прекрасное. Года через два мы, неблагодарные, подсмеивались уже над этим его свойством. Но ведь он таким образом навеки вбивал в ученика сознание того, что работа над рукописью дело божественной важности. И когда я шел домой или бродил по улицам с Маршаком, то испытывал счастье, чувствовал, что не только выбрался на дорогу, свойственную мне, но еще и живу отныне по-божески. Делаю великое дело. Написав книжку, я опять уехал в «Кочегарку». Вернувшись в Ленинград, я ужасно удивился тому, что моя «Балалайка» вышла в свет — и только! Ничего не изменилось в моей судьбе и вокруг. Впрочем, я скоро привык к этому. Во всяком случае, люди, которых я уважал, меня одобряли, а остальные стали привыкать к тому, что я не актер, а пишу. К этому времени Самуил Яковлевич со всей страстью ринулся делать журнал «Воробей». (Впрочем, кажется, журнал назывался уже «Новый Робинзон» в те дни?) Каждая строчка очередного номера обсуждалась на редакционных заседаниях так, будто от нее зависело все будущее детской литературы. И это мы неоднократно высмеивали впоследствии, не желая видеть, что только так и можно было работать, поднимая дело, завоевывая уважение к детской литературе, собирая и выверяя людей. Появился Житков. Они с Маршаком просижи-

вали ночами, — Житков писал первые свои рассказы. Тогда он любил Маршака так же, как я. Еще и подумать нельзя было, что Борис восстанет первым на учителя нашего и весна, вдруг, перейдет в осень. Но это случилось позже. (А я говорю о весне 1924 года.)

18/I

Итак — была весна 24-го года, время, которое начало то, что не кончилось еще в моей душе и сегодня. Поэтому весна эта — если вглядеться как следует, без всякого суеверия, без предрассудков — стоит рядом, рукой подать. Я приходил к Маршаку чаще всего к вечеру. Обычно он лежал. Со здоровьем было худо. Он не мог уснуть. У него мертвели пальцы. Но тем не менее он читал то, что я принес, и ругал мой почерк, утверждая, что буквы похожи на помирающих комаров. И вот мы уходили в работу. Я со своей обычной легкостью был ближе к поверхности, зато Маршак погружался в мою рукопись с головой. Если надо было найти нужное слово, он кричал на меня сердито: «думай, думай!» Мы легко перешли на ты, так сблизила нас работа. Но мое «ты» было полно уважения. Я говорил ему: «ты, Самуил Яковлевич». До сих пор за всю мою жизнь не было такого случая, чтобы я сказал ему: «ты, Сема». — «Думай, думай!» — кричал он мне, но я редко придумывал то, что требовалось. Я был в работе стыдлив. Мне требовалось уединение. Угадывая это, Самуил Яковлевич чаще всего делал пометку на полях. Это значило, что я должен переделать соответствующее место — дома. Объясняя,

чего он хочет от меня, Маршак, как я уже говорил, пускал в ход величайшие классические образцы, а сам приходил и меня приводил в одухотворенное состояние. Если в это время появлялась Софья Михайловна и звала обедать, он приходил в детское негодование. «Семочка, ты со вчерашнего вечера ничего не ел!» — «Дайте мне работать! вечно отрывают». — «Семочка!» — «Ну я не могу так жить. Ох!» — и задыхаясь он хватался за сердце. Когда работа приходила к концу, Маршак не сразу отпускал меня. Как многие нервные люди, он с трудом переходил из одного состояния в другое. Если ему надо было идти куда-нибудь, требовал, чтобы я шел провожать его. На улице Маршак был весел, заговаривал с прохожими, задавая им неожиданные вопросы. Почти всегда и они отвечали ему весело. Только однажды пьяный, которого Самуил Яковлевич спросил: «Гоголя читали?» — чуть не застрелил нас. Проводив Маршака, я шел домой, в полном смысле слова переживая все, что услышал от него. Поэтому я и помню, будто сам пережил, — английскую деревню, где калека на вопрос: как поживаете? — кричал весело: отлично! Помню Стасова, который шел с маленьким гимназистом Маршаком в Публичную библиотеку, помню Горького, всегда [дальше неразб. строчка].

19/I

У меня был талант — верить, а Маршаку мне было особенно легко верить — он говорил правду. И когда мы сердились на него, то не за то, что он делал, а за то, что он, по-нашему, слишком мало творил чудес. Мы буквально

поняли его слова, что человек, если захочет, — может отделиться от земли и полететь. Мы не видели, что уже, в сущности, чудо совершается, что все мы поднялись на ту высоту, какую пожелали. Ну вот и все. Вернемся к сегодняшним делам. Несколько дней писал я о Маршаке с восторгом и с трудом — не желая врать, но стараясь быть понятым...

20/I

Все продолжаю думать о Маршаке. Чтобы закончить, ко всему рассказанному прибавлю одно соображение. Учитель должен быть достаточно могущественным, чтобы захватить ученика, вести его за собой положенное время и, что труднее всего, выпустить из школы, угадав, что для этого пришел срок. Опасность от вечного пребывания в классе — велика. Самуил Яковлевич сердился, когда ему на это намекали. Он утверждал, что никого не учит, а помогает человеку высказаться наилучшим образом, ничего ему не навязывая, не насилуя его. Однако, по каким-то не найденным еще законам, непременно надо с какого-то времени перестать оказывать помощь ученику, а то он умирает. Двух-трех, так сказать, вечных второгодников и отличников породил Маршак. Это одно. Второе: как человек увлекающийся, Маршак, случалось, ошибался в выборе учеников и вырастил несколько гомункулюсов, вылепил двух-трех големов. Эти полувоплощенные существа, как известно, злы, ненавидят настоящих людей и в первую очередь своего создателя. Все это неизбежно, когда работаешь так много и с такой страстью, как Маршак, ни с кого так много не требовали и

никого не судили столь беспощадно. И я, подумав, перебрав все пережитое с ним или из-за него, со всей беспощадностью утверждаю: встреча с Маршаком весной 24 года была счастьем для меня. Ушел я от него недоучившись, о чем жалел не раз, но я и в самом деле был слишком для него легок и беспечен в 27-31 годах. Но всю жизнь я любил его и сейчас всегда испытываю радость, увидев знакомое большое лицо и услышав сказанные столь памятным грудным сипловатым голосом слова: «Здравствуй, Женя!»

21/I



ПРИМЕЧАНИЯ

Он втолковывает мне, что, давая примечания, нужно чувствовать, когда именно у читателя возникает вопрос, а не отвлекать его от книжки ненужными комментариями, не показывать без толку свою ученость.

Евг.Шварц. «Белый волк»

Все рассказы, кроме рассказа «Детство», печатаются здесь по машинописной копии, снятой с рукописей Е.Л.Шварца и переданной составителю поэтом и детским писателем В.А.Лифшицем (1913-1978). В.А.Лифшиц и его жена И.Н.Кичанова-Лифшиц были многолетними друзьями семьи Шварцев.

ДЕТСТВО

Первая часть, до звездочек, — впервые в журнале «Искусство кино», №9, 1962, стр.95-102. Вторая часть — впервые в сборнике «Встречи с прошлым», выпуск 4, Москва, «Советская Россия», стр.85-103. Как поясняет публикатор Н.К.Кириленко, там «упоминаются брат Е.Л.Шварца Валя, товарищи по реальному училищу Илья Шиман и Матвей (Матюша) Поспеев, домовладелец Родичев, бухгалтер, сосед Шварцев Владимир Алексеевич Добриков. Первая запись сделана 18 августа 1950 года, последняя — 8 сентября 1951 года».

Стр.45 *Антон* — Шварц Антон Исаакович (1896-1954), известный актер-чтец, двоюродный брат писателя. Евгений и Антон вместе приехали в Петроград в 1922 году с ростовской Театральной Мастерской, где они оба и их жены были актерами.

БЕЛЫЙ ВОЛК

Впервые в сборнике «Память» №3, 1980, с.284-300. Вступление Р.Михайлова, очень подробные примечания В.Воронина.

Публикация «Памяти» страдает некоторыми погрешностями.

Стр.94 *У него были основания задумываться и страдать...* — Сменовеховская газета «Накануне» издавалась в 1922-24 в Берлине при финансовой поддержке советского правительства. А.Н.Толстой редактировал там литературное приложение, в котором регулярно печатались проживавшие в Москве писатели, например, М.А.Булгаков. Об эпизоде со скандальным письмом Чуковского см. открытое письмо М.И.Цветаевой Алексею Толстому (литературный сборник «Руссика», Нью-Йорк,1981, с.347-349).

Стр.95 *Андреев жаловался на него в письмах.* — О своих отношениях с Леонидом Андреевым Чуковский пишет в очерке «Леонид Андреев», вошедшем в его книгу «Современники». Андрееву приписывается и обидное прозвище, данное Чуковскому, «Иуда из Терриок». Впрочем, согласно Чуковскому, Андреев считал «предательством» просто-напросто неблагоприятный отзыв К.И. о его пьесе «Океан».

Стр.97 *...стихи, посвященные ему — «Корней Белинский».* — См. Саша Черный. Стихотворения. М.-Л., «Советский писатель», 1960, с.16.

Стр.99 — *Замирайло, Виктор Дмитриевич* (1868-1939), художник.

Стр.104 — *Давыдов Владимир* (1849-1925), прославленный характерный актер Александринского (ныне им. А.С.Пушкина) Академического театра.

Радаков, Алексей Александрович (1879-1942), художник-карикатурист, один из основателей журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон».

«*Квисисана*» — популярное кафе (упоминается, напр., в стихах П.П.Потемкина). Просуществовало до конца 1940-х гг. Ныне там помещается один из залов кафе «Север».

Стр.105 *...тетрадь по имени «Чукоккала».* — После многолетней волокиты, красочно описанной внучкой Чуковского Еленой (см. В.Войнович. «Иванькиада». Ardis, 1977, с.107-112), знаменитый альбом Чуковского был наконец издан, хотя и в сильно отцензурированном виде: «Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского». М., «Искусство», 1979.

Стр.110 *«В детскую литературу бросились все, от Саши Черного до Евгения Шварца».* — После смерти Шварца Чуковский, видимо, пожалел о своем грубоватом каламбуре. Возможно, что он даже читал «Белого волка», ибо в его позднейшем высказы-

вании о Шварце звучит запоздалое сожаление: «...я был в числе тех, кто не угадал в неугомонном остряке и балагуре (с которым я встречался одно время почти ежедневно) будущего автора таких замечательных сатир и комедий, как "Обыкновенное чудо", "Тень", "Голый король", "Дракон"». Не исключено, что и Шварц назвал Чуковского «*белым* волком», тоже все еще памятуя об обидном каламбуре. (К.Чуковский. «Собрание сочинений». Т.6, с.624-625).

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

Впервые в журнале «Искусство кино» №9, 1962, с.102-106. Публикация с некоторыми неточностями и, главное, со значительными купюрами. Сняты некоторые характеристики В.В.Лебедева и других персонажей и особо острые замечания Шварца по поводу советской эпохи. Даже при этих купюрах публикация 1962 года вызвала легкий скандал, так как и В.В.Лебедев, и некоторые другие нелицеприятно описанные в рассказе лица были еще живы.

Стр.114 «*Печатный двор*» — старейшее полиграфическое предприятие Ленинграда. Значительную часть его продукции составляют детские книги и журналы. «Печатный двор» занимает целый квартал позади Петропавловской крепости.

...с донбассовских времен, со «Всесоюзной кочегарки». — Газета в г.Макеевка, где Шварц и его друг Михаил Слонимский работали репортерами летом 1923 года. Ответственным секретарем «Всесоюзной кочегарки» был Н.М.Олейников, которому суж-

дено было стать «другом и злейшим врагом и хулителем» Шварца (см. «Превратности характера»).

В описываемое время Шварц сотрудничал в знаменитом детском журнале «Еж».

Стр.115 — *Лебедев, Владимир Васильевич* (1891-1967). До революции сотрудник «Нового Сатирикона». Затем, как живописец и график, был одним из лидеров пореволюционного авангарда. Реформа книжной графики, проведенная В.В.Лебедевым, повлияла на эту область искусства во всем мире. О В.В.Лебедеве см. также интересные воспоминания И.Н.Кичановой-Лифшиц, «Прости меня за то, что я живу...». Нью-Йорк, «Хроника-Пресс», 1981.

Стр.121 *...вот Курдов...* — В.Курдов, Е.Чарушин, А.Пахомов, Ю.Васнецов, В.Тамби — известные художники-иллюстраторы, ученики В.В.Лебедева. О каждом из них существует значительная литература. В мемуарном плане следует отметить книгу Б.Семенова «Время моих друзей». Лениздат, 1981.

Стр.122 *Старшее поколение — Тырса, Лапшин...* — Н.А.Тырса (1887-1942), Н.Ф.Лапшин, живописцы, близкие к французскому постимпрессионизму, книжные графики.

ПРЕВРАТНОСТИ ХАРАКТЕРА

Публикуется впервые.

Стр.135 *Золотовский пожаловался...* — Юмор ситуации усугубляется тем, что К.Д.Золотовский, строго говоря, даже не был профессиональным писателем, а был водолазом, одним из «бывалых

людей», кого Маршак привлек к писательству и чьи рассказы записывались и переписывались в детской редакции.

Стр.141 *Горняшки!* — Пренебрежительное от «горничные».

Стр.144 — *Олейников, Николай Макарович* (1898-1938), поэт, детский писатель и редактор. См. его «Стихотворения», Бремен, K-Presse, 1975. Об исключительности Олейникова пишут многие мемуаристы, в том числе и такой взыскательный автор, как Н.Я.Мандельштам (см. ее «Вторая книга», Париж, ИМКА-Пресс, б/д, с.343).

Стр.151 *...очень влиятельная педагогическая деятельница... шла по улице с очень большим человеком.* — Несомненно, речь идет о Н.К.Крупской и В.И.Ленине. Иначе чем же объяснить изумление редакции в связи с резкостью Житкова? Эпизод имеет и некоторые историко-литературные корни. В главе 5, «Перед праздником», части 2 «Бесов» Достоевского сбитая с толку Варвара Петровна разражается тирадой против милостыни: «В новом устройстве совсем не будет бедных» и проч.

Стр.154 *Елена Яковлевна Данько — ведьма.* — Данько, Елена Яковлевна (1898-1942), детская писательница, актриса кукольного театра и художник по фарфору.

Стр.155 *Над «Вавичем» Борис работал...* — «Виктор Вавич», «Изд. писателей в Ленинграде», т.1, 1929, т.2, 1934. Несправедливо забытый замечательный роман Б.С.Житкова.

Стр.158 *...Катерина Ивановна пожаловалась...* — Катерина Ивановна — вторая жена Е.Л.Шварца. Через несколько лет после смерти писателя покончила самоубийством.

ПЯТАЯ ЗОНА — ЛЕНИНГРАД

Впервые в журнале «Вопросы литературы» №9, 1967, с.161-168. Первая публикация — крайне неудовлетворительная. Многочисленные искажения текста (особенно в том, что касается прямой и косвенной речи). Есть и цензурные купюры. Например, опущена фраза «Появляются военные» (в настоящей книге с.167) в связи с цензурным запрещением упоминать военнослужащих в прямо обозначенных географических точках (в данном случае — станции Дибуны и Песочная).

Название рассказа — станция Комарово Октябрьской (б.Финляндской) железной дороги находится в пятой тарифной зоне пригородного сообщения.

Стр.164 *...в Комарово за продуктами...* — магазины в Комарово и в соседнем Репино, где расположены дома творчества, академические дачи, и, главное, дачи ленинградского партийного начальства, снабжаются несколько лучше, чем в окружающих поселках.

Стр.173 *...на улице Восстания.* — Пьяный думает, что он едет не в пригородной электричке, а в городском трамвае: Восстания — улица в центре Ленинграда.

Стр.175 *За эти годы я настолько пригляделся...* — В этом абзаце Шварц перечисляет все без исключения станции между Комаровым и Финляндским вокзалом в Ленинграде.

* * *

Приложение 1: ТЕТРАДЬ №1

Здесь воспроизводится публикация из сборника «Прометей» №5, 1968, Москва, «Молодая Гвардия», с предисловием и комментариями публикатора Е.Биневича. Первая публикация — в журнале «Вопросы литературы» №9, 1967, с.168-171 (неполная, с неточными прочтениями рукописи).

Приложение 2

Впервые в книге «Встречи с прошлым», выпуск 1, Москва, «Советская Россия», 1970, стр.230-235, публикация К.Н.Кириленко.

К этим отрывкам можно прибавить следующие записи, цитируемые в книге В.Каверина «Вечерний день», Москва, «Советский писатель», 1982, стр.541.

> *Всю жизнь ему «не писалось». Горькая нота неуверенности в себе звучит в дневниках, как камертон, к которому прислушивается, настраивая свой инструмент, музыкант.*
>
> «Есть много ощущений сильных и ясных — вдруг увидишь цвет подбородка, тень на снегу, и никуда не возмешь. Нечем» (18 апреля 1942 г.).
>
> «Боюсь, что рассказывать я никогда не научусь. Главное не кажется мне главным, потому что каждый пустяк — вовсе не пустяк. Почему он пустяк? Может быть, он как раз и окрашивает все, что происходило, именно в данный цвет» (28 декабря 1942 г.).
>
> «Сегодня понедельник, работа все не клеится» (8 марта 1943 г.).

Приложение 3

Цитируется по книге В.Каверина «Вечерний день».

Приложение 4

Впервые в книге «Редактор и книга», выпуск 4, Москва, 1963, стр.250-257.

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 13 OCTOBRE 1982
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 7993